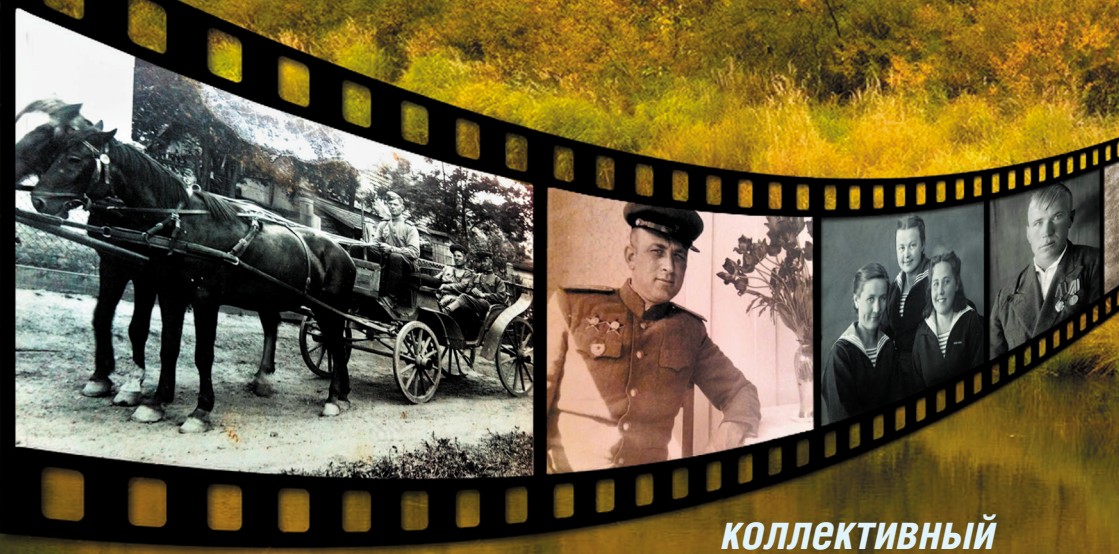
ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ



коллективный сборник

Серия «Серебро Слов»

Дорогие мои старики

Сборник произведений



Коломна
Серебро Слов
2018

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Д69

Редколлегия:

Сергей Сергеевич Антипов
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Игорь Евгеньевич Витюк
Заместитель председателя Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Денис Викторович Минаев
Генеральный директор издательства «Серебро Слов»,
секретарь Правления
Московской областной организации
Союза писателей России

Надежда Васильевна Казакова
г. Химки, составитель сборника

Д69 Дорогие мои старики. *Сборник произведений / [Авт.; Сост. Н.В. Казакова].* — Коломна: Серебро Слов, 2018. — 202 с.

ISBN 978-5-907026-87-2

© Авторы, 2018
© Казакова Н.В., составление, 2018
© Анисимова Е.В., обложка, 2018
© Серебро Слов, 2018

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

О чём и о ком эта книга?

О любви, о благодарности, о радости знакомства с мудрыми, яркими людьми на жизненных просёлках.

О тех, кто открыл нам в жизни дотоле неизвестное, чем-то поделился или удивил нас, разбудил в нас личность. Это родные и близкие, учителя, соседи, коллеги, друзья, попутчики или вовсе незнакомые люди, которых мы увидели лишь однажды, — словом, все те, кто помог нам попытаться найти и понять себя и окружающий мир.

Теперь они, наверное, немолоды, а некоторых и вовсе уже нет, но это не значит, что дорогие сердцу старики потерялись в нашей памяти.

Искренняя любовь, благодарность и нежность ко всем, кто прикоснулся сердцем к пёстрым полотнам наших судеб, нашли отражение в стихах, рассказах, новеллах, включенных в этот сборник. Мемуары близких и личные воспоминания о пережитом и прожитом в далёком далеке ушедших лет, верится, также заинтересуют неравнодушных читателей, ждущих встречи с настоящей литературой о настоящих самородках нашей земли.

Игорь Англер

г. Москва

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ «ТРЕУГОЛЬНИКИ»

«Треугольник» первый»

Дорогой Иван Иванович, любимый деда Ваня! Что-то давно я тебе не писал, но вот наконец решил: всё-таки сегодня 9 мая!

Хочу спросить тебя, почему ты мне ничего не рассказывал про войну? Про то, что ты в Красной Армии с 1 января 1941 года. Как бы мне хотелось услышать твой рассказ о первом дне войны, о том, как ты встретил 22 июня 1941 года.

А ты, помнишь, всегда отнекивался, мол, нечего рассказывать, простым шофёром был, пушку возил.

Отмалчивался потому, что героизм на войне неброский и начинается с обыкновенного преодоления страха? И зачем это нужно было знать мне, пацану, у которого игрушечного оружия хватало на целое отделение?

Потому что своими детскими наивными вопросами я будоражил твои воспоминания? О чём были они? О том, как боец вжался спиной в дрожащую от разрывов окопную стенку? Или о том, как от неё тенью отделялись призраки войны, чтобы снова проникнуть сквозь тяжёлую шинель и пропитать грязное бельё липким мокрым страхом?

И не оттого ли, что от постоянно живущей в тебе тревоги невозможно спрятаться? Ужас, ноя где-то под ложечкой и сбивая дыхание даже во сне, гипнотизирует и парализует сильнее, чем завывание приближающихся мин, снарядов и бомб?

И страх всё равно первым, быстрее пули, прошьёт тело мелким ознобом потому, что от него невозможно отделаться, так как вибрирующая земля войдёт в резонанс с твоим пуль-

сом и перейдёт в нервную дрожь пальцев, лихорадочно постукивающих по ложу винтовки?

О чём думал в такие моменты ты?

О том, чтобы подольше не заканчивалась артподготовка, потому что сразу придётся подниматься в атаку? О том, что воинская храбрость действительно начинается с борьбы с чувством самосохранения? Через которое нужно переступить, как через бруствер окопа, сделав из него, возможно, последний шаг? И, не оглядываясь назад на ощерившиеся смертельной ухмылкой «максимы» заградительного отряда, считать отведённые тебе шаги жизни?

Один. Живой.

Два. Живой.

Три...

Об этом, согласен, трудно говорить и не хочется вспоминать. Да и что сказать пацану, который ждал геройского рассказа, чтобы потом сразу сорваться к приятелям на «уличную войнушку», а память, оказывается, подсказывала тебе совсем другое.

И это была чистая правда о войне.

Как были правдой вот эти строчки — читал ли ты их? — твоего командира из наградного листа к медали «За отвагу» от 20 ноября 1944 года:

«Тов. Горельцев И. И. за время пребывания в батарее проявил себя мужественным, храбрым и выносливым разведчиком в борьбе с немецкими захватчиками. Он обнаружил 12 батарей противника, большинство которых подавлено и уничтожено огнём батареи. Как лучший разведчик, в период наступления наших частей всегда находился в боевых порядках пехоты. В районе боёв у озера (неразборчиво) Калу тов. Горельцеву была поставлена задача разведать миномётную батарею, мешавшую продвижению стрелковой части. Тов. Горельцев, умело используя местность для наблюдения выстрелов, обнаружил батарею и своевременно доложил командиру её местоположение, в результате чего миномётная батарея была подавлена. В боях зап. местечка (неразборчиво) Вечеряй тов.

Горельцев, находясь на БНП, ведя тщательное наблюдение, обнаружил до роты немцев и 4 самоходных орудий, накопленные для атаки. По врагу сразу был открыт артобстрел нашей батареи, который корректировал тов. Горельцев. Замысел врага был сорван, противник был рассеян. Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир дивизиона капитан ____ (Двятный) 136 Армейская Пушечная Артиллерийская Режицкая Краснознамённая Орденов Суворова и Кутузова 2 степени Бригада».

Так говоришь, шофёром был? И на слух не отличал сухой трескучий кашель «шмайсера» от глуховатого простуженного баритона ППШ?

Про окопный страх ничего не ведал? В атаку не ходил? И, находясь в одной цепи с пехотинцами, не знал цену ошибки наводчика орудия?

А вот эти два пожелтевших и порвавшихся на сгибах листка о чём?

Передо мной две грамоты: от 24 апреля и 2 мая 1945 года, — в которых сказано, что тебе «Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина...» «...за прорыв обороны и наступление на Берлин всему личному составу, в т.ч. и Вам, принимавшему участие в боях...» и «...за взятие Берлина» объявлены две благодарности.

И медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией» был награждён просто потому, что до Берлина повезло доехать и на рейхстаге расписаться?

Об этом, то есть о городских, самых опасных, боях вспоминать не хотелось? И про стрельбу прямой наводкой по танкам и орудиям, замаскированным в жилых домах, и что делает в такие моменты разведчик артиллерийского дивизиона, лучше было помолчать?

Не скажешь, почему ты так любил слушать «Московские окна» Утёсова? Не потому ли, что они так не похожи на те, берлинские окна, в которых весной сорок пятого таилась беспощадная и обидная в преддверии близкой победы смерть?

Спасибо, что рассказал о столкновениях с американцами на Эльбе и о том, как вы пинали этих союзничков, любителей сепаратных соглашений, под зад, прежде чем наверху решили всё-таки побрататься под вспышки фотоаппаратов и стрекотание кинокамер. Кстати, сегодня многое становится понятным... Эх, надо было им ещё добавить!

Все твои награды и грамоты, что ты мне передал, сохранены. Мои сыновья приносили их в школу на уроки мужества и теперь про тебя знают больше, чем когда-то я сам. Жаль, что ты не видел, как твоя медаль «За взятие Берлина» вместе с грамотой передавалась детьми из рук в руки в полной тишине.

Ну вот и написал.

Только как отправить?

Не знаю...

«Треугольник» второй

Здравствуй, дорогая и любимая тётя Валя!

Тут, знаешь, деду написал, спрашивал, почему ничего не рассказывал о войне. Но и ты тоже мало что мне говорила. Только о том, как боялась проверять связь по ночам и плакала от страха, когда приходилось, спотыкаясь в темноте и падая в воронки, бежать по лесу, зажав в руке разорванный телефонный провод.

Помнишь, как ты однажды ночью, найдя и устранив обрыв на линии, вернулась на командный пункт вся в слезах и без... одного сапога. А старшина тогда смеялся, и тоже до слёз! Это твоя чуть ли не единственная военная история.

А вот про это ты мне точно не говорила потому, что данный приказ сама, наверное, никогда не читала и не знала, что он сохранился в военном архиве.

«ПРИКАЗ по 170 артиллерийскому полку 37 стрелковой дивизии Второму Прибалтийскому фронту действующая армия № 05/н от 3 марта 1945 года. ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР НАГРАЖДАЮ:

медалью «ЗА ОТВАГУ»:

…6. Радиотелеграфиста 3 батареи красноармейца Ерошкину Валентину Васильевну за то, что в бою 18.2.45 года заменила выбывшего из строя телефониста и за день боя под сильным артминогнём противника устранила до 25 порывов на линии связи, чем способствовала успешному выполнению задачи».

Это вообще-то о тебе, тётя Валя, о девушке, которой зимой сорок пятого ещё не было и двадцати одного. А в Красную Армию тебя призвали в феврале 1942 года в семнадцать с половиной лет.

Промолчала…

Не страшно было той русской деревенской девчушке с роскошной русой косой до пояса двадцать пять раз бегать к передовой под разрывами мин и снарядов, таща за собой тяжёлую катушку с телефонным проводом?

Пока всё. Сложил исписанный листок в треугольник и положил рядом с письмом Ивану Ивановичу.

Думаю, как отправить…

«Треугольник» третий

Дорогой Пётр Егорович, Вы меня не знаете. Я сын Вашей родной сестры Александры, Ваш племянник.

До недавнего времени наша семья о Вас ничего не знала, кроме того, что Вы ушли на фронт в восемнадцать лет. Единственным документом о Вас была похоронка от 8 марта 1945 года о том, что Вы «в боях за Социалистическую родину, верный присяге, проявили геройство и мужество, погибли 24 января 1945 года и похоронен(ы) с отданием воинских почестей в гор. Лабиау (В. Пруссия) ».

Вы уже точно знали, что победите фашистскую Германию, но не знали когда. День Победы будет 9 мая 1945 года — через три месяца после Вашего последнего боя под Кенигсбергом.

О чём думал тот паренёк в пулемётной ячейке, вглядываясь во вражескую цепь через прицел «максима» и выбирая пер-

вую цель, а нажав на спусковой крючок, выпуская заскучавшую в патронной коробке смерть?

«НАГРАДНОЙ ЛИСТ от 30 января 1945 года.

В решительной дневной атаке 29 января 1945 года пулемётчик ЩЕГОЛЕВ интенсивным огнём «Максима» проложил путь наступающим стрелкам, уничтожив перед ними две пулемётных огневых точки противника, маскируясь, смело продвигаясь вперёд, поражал важные цели. Уничтожил два пулемёта, 11 солдат и офицеров. Этим самым способствовал успешному овладению населённым пунктом Родан. Достоин представления к награждению правительственной наградой орденом «Красная Звезда».

КОМАНДИР 576 сп ПОДПОЛКОВНИК (СЕРДЮКОВ) »

Следующий бой (в похоронке, видимо, ошибка в дате боя) под Лабиау стал для Вас последним.

Погибнуть на виду у своих однополчан и в награду получить на вечную память несколько пронзительных слов «пал смертью храбрых...» Но разве неизвестный подвиг советских солдат стал менее значимым от того, что их командиры остались лежать на земле вместе с ними и не успели написать несколько скупых, но таких важных для потомков строчек? А разве не подвиг, поднимаясь в рукопашную, встать во весь рост в цепи и тут же упасть с разорванной в клочья грудью, сделав всего один шаг из окопа и успев только примкнуть штык к винтовке с пустым магазином?

«ПРИКАЗ КОМАНДИРА 576 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 115 СТРЕЛКОВОЙ ХОЛМСКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ДИВИЗИИ от 23 декабря 1944 года № 050-н.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ:

...МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

2. Командира пулемётного отделения 2 стрелкового батальона сержанта ЩЕГОЛЕВА ПЕТРА ЕГОРОВИЧА за то, что за время Отечественной войны получил два ранения. 13 февраля 1943 года тяжело ранен под ст. Синявино в наступлении, будучи бойцом 1236 стрелкового полка. 18 июля 1944 года легко ранен под д. Дагдо Латвийской ССР в наступлении 576 сп 115 схкд, будучи командиром отделения...»

Во время боёв под Синявино Вам было всего девятнадцать лет. Хотел Вас спросить, как быстро взрослели мальчишки на той войне? Вот совпадение: Ваша сестра большую часть своей жизни прожила в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Да, вот ещё. Недавно побывали на братской могиле в Полесске – это тот самый бывший Лабиау в Восточной Пруссии, в боях под которым Вы погибли.

...Написал, но куда отправлять?

«Треугольник» четвёртый

«Дорогой дедушка, Егор Петрович, ...»

«Дорогой дедушка, Василий Павлович, ...»

Не отправил потому, что: *«Никаких сведений о Щеголеве Егоре Петровиче в Дегтярском райвоенкомате Тамбовской области и Макарове Василии Павловиче в Куркинском райвоенкомате Тульской области не имеется».*

И такие ответы «пропал без вести» идут с той войны до сих пор...

«Треугольник» последний

Парады Победы каждый год будоражат брусчатку Красной площади и нашу память.

Теперь эти камни, успокоившись после чеканного шага боевых частей всех родов войск и лязга тяжёлых гусениц танков «Армата» и различных ракетных комплексов, в конце парада прислушиваются к тихим шагам людей, несущих портреты своих родственников — участников войны.

Бессмертный полк — новая традиция.

Но, глядя на экран телевизора, я думаю, что нашим парадам чего-то не хватает. Что они почему-то всё равно непонятны нашим бывшим союзникам.

Может быть, удачно придумав параду Победы мирное завершение, и начинать его нужно мирными аккордами?

Например, пусть танковые и ракетные экипажи пропустят вперёд полуторки с военно-полевой почтой. И пусть военные почтальоны, медленно пройдя вдоль парадных колонн, выпустят в московское небо белых голубей, отправив наконец наши неотправленные «треугольники».

Анастасия Ано

г. Москва

ЗНАНИЯ НАЧИНАЮТСЯ С УЧИТЕЛЯ

Лет пятнадцать назад, когда я училась в старших классах, в моей самой обычной московской школе № 646 работала одна старенькая учительница: полноватая, невысокая, с короткой стрижкой и волосами запоминающегося (прямо скажем, экзотического) баклажанового цвета. Звали её Тихомирова Елена Викторовна, и вела она у нас биологию.

Тогда, да и теперь, я уверена, никто во всей школе не знал свой предмет так замечательно, глубоко и досконально, как она.

Мне нравились уроки Елены Викторовны. Я обожала те минуты, когда она живо и интересно рассказывала материал по ботанике, показывая все «пестики» и «тычинки» у цветов, теснящихся в аккуратных горшочках и кашпо на подоконнике, подчас под смешки моих одноклассников. Меня удивляло и завораживало, как усердно вычерчивала наша учительница на доске все законы Менделя и объясняла сложные и, казалось бы, непонятные основы классической генетики на простых и доступных нам, детям, примерах.

С той давней поры генетика очень меня привлекала — наследственность, расшифровка ДНК, гены бессмертия, гены наследования способностей и прочее... невероятный, ещё малоизученный и хранящий в себе столько тайн, мир внутри нас! А цитология, последний раздел школьного курса биологии! Как он меня увлёк! И опять-таки благодаря учительскому таланту Елены Викторовны.

Все эти триллионы клеток, работающих на нас и для нас, каждые со своей узкой специализацией... Вся эта невероятная симфония их слаженной работы каждый день позволяет нам с вами вставать утром с постели и радоваться жизни. Только вдумайтесь, целый мир внутри нас работает на наше благо! Наш организм поистине удивителен. Вот, опять этот

восторг... Ох, Елена Викторовна, что же вы «наделали»! Влюбили меня в свой предмет на всю жизнь, и говорить о нём я могу бесконечно.

Не знаю точно, но, по-моему, таким учеником, жадным до знаний, я была одна. Именно на уроке биологии — и никаком другом — я всегда садилась на первую парту, внимательно слушала, ловила каждое слово и никогда... никогда не опаздывала. А остальные? Остальные остались равнодушными к предмету, который преподавала Елена Викторовна. Так бывает. Вот мне, например, не так интересна была алгебра, не вызывала восторгов и география. Почему же другим обязательно должна была нравиться биология?

Елена Викторовна это понимала. Она была добрым, очень неконфликтным человеком и никого не заставляла учиться из-под палки на хорошие и отличные оценки, но вот дать возможность получить не самому блестящему ученику тройку, так составить тест или контрольную работу, чтобы даже слабый смог показать, что и он что-то знает, она умела. Очень правильная позиция, которую я разделяю и поддерживаю.

Я учила биологию не потому, что меня заставляли, а потому, что мне действительно было интересно. С азартом, каким-то рвением и упорством я познавала этот самый лучший для меня предмет, который преподавала самая лучшая на свете учительница.

На школьных выпускных экзаменах я специально выбрала биологию — и сдала её на отлично. Потом, уже будучи студенткой-первокурсницей, я узнала, что эти экзамены были последними в педагогической карьере Елены Викторовны. По окончании учебного года она ушла на заслуженный отдых.

Я выбрала профессию психолога. Поступив в институт, ни разу не испытывала трудностей при изучении билогии благодаря тому, что Елена Викторовна дала мне фундаментальную подготовку. Мечта о сделанных мной грандиозных открытиях в области генетики пока так и осталась мечтой, но, возможно, всё ещё впереди.

Я надеюсь, что и мои дети переймут у меня этот огромный неподдельный интерес к биологии, генетике, цитологии, что

зародила во мне Елена Викторовна. И даже если душа их не прикипит к этой науке, возможно, им понравится что-то другое, своё. Главное — повстречать «того самого» учителя, как это случилось в моей жизни.

Всегда с благодарностью и теплотой я вспоминаю любимую учительницу, со школьной скамьи прививщую мне любовь к науке и страсть к познанию нового.

Низкий Вам поклон, Елена Викторовна.

ДЛЯ НЕЁ ТЫ – ОСОБЕННЫЙ

Для кого? — для бабушки, конечно же!

Для бабушки ты всегда самый особенный. Самый красивый, самый розовощёкий и самый замечательный ребёнок в мире. И именно тебе она всегда желает только самого лучшего.

Бабушки — вообще совершенно не похожий на родителей народ. У родителей нельзя объедаться сладким и купаться в лужах, а у бабушек — пожалуйста, можно. Никто ругать не станет, только поворчит бабуля немного и скажет: «Ох, детство-детство...»

Мою бабушку звали Тюрикова Лидия Ивановна. Почему «звали»? К сожалению, её уже нет. И светлые воспоминания о ней частенько перемешиваются с горькими слезами. Вот прям как сейчас...

Бабушка была рядом со мной с самого детства, настолько теперь далёкого, что я и не помню толком, существовал ли такой период в моей жизни, когда бабушки не было рядом. Вместе со мной она прошла через далеко не лёгкие этапы моего взросления — от детства до юности и взрослости.

Все школьные каникулы я проводила на даче в Подмосковье, где они жили вместе с дедом круглый год. Воздух там чище, суеты меньше, а значит, для здоровья полезнее. Частенько мои родители приглашали бабушку последить, поухаживать за мной, пока уезжали куда-то отдохнуть на недельку-другую. Да и сама она любила навестить нас, когда приезжала в Москву.

Бывало, приедет с сумкой-тележкой на колёсиках — а та аж топорщится, доверху набитая чем-то, — разденется неторопливо (бабушка моя была немного полная, невысокого роста), обнимется, расцелуется со всеми и давай разгружать сумку, а та-а-ам... и банки с огурцами (ну крутила она их, как и все бабушки, у которых есть огороды), и варенье, и соки, и ещё много чего. А под конец она доставала большой пакет с конфетами «Сластёна» — я их очень в детстве любила — и вручала мне сладкий подарок, и улыбка у меня становилась до ушей. Да-а-а, хорошие воспоминания...

Любила я бабушку. Хоть из-за детской вредности, бывало, этого и не показывала. Со мной — как, наверное, и с каждым ребёнком — было иногда трудно. Взаимопонимания, что ли, не хватало? И мы ругались, ссорились по какому-нибудь, как сейчас кажется, совершенно пустячному поводу. Но! Бабушка на меня — непослушную, иногда по-детски грубую и резковатую девчонку — никогда всерьёз не обижалась. Отчётливо помню, как часто она с теплотой говорила мне: «Ты у меня единственная в семье девочка». Вот потому-то в любви бабушкиной я просто купалась. И, наверное, поэтому после ссор мне самой становилось стыдно и я шла с повинной к бабушке. Может, по этой причине я делаю так и сейчас: не могу долго держать обиды и стараюсь побыстрее помириться с кем бы то ни было.

Но, несмотря на всю свою мягкость и отходчивость, именно бабушка умела быть бескомпромиссной, когда речь шла о чём-то принципиально важном, значимом. Ещё когда я училась в школе, она научила меня твёрдости характера, научила, как отстаивать свои интересы, собственное мнение и не прогибаться под других. За эту первую науку ей огромное спасибо — в жизни это качество оказалось очень важным.

К слову о первости. Бабушка Лида была первым для меня примером по приготовлению особо любимых мною блюд — борща, шарлотки, омлета, гренок. Список небольшой, но с помощью бабушки я стала самостоятельно их готовить и проявила тогда, пожалуй, вообще первый интерес к готовке. Эти старенькие, оставшиеся ещё с того времени, рецепты до сих пор бережно хранятся у меня в тумбочке в отдельной

коробочке. Помню, как-то пару раз после освоения этих рецептов на даче приготовила шарлотку дома — ох, до чего ж мама тогда удивилась и всё нарадоваться этому не могла! А ведь до этого я интерес к готовке совсем никакой не проявляла. А всё почему? Потому что бабушка меня готовить не заставляла, вот интерес сам и появился.

Надо сказать, бабушка всегда была готова накормить меня до отвала — так, наверное, у всех бабушек водится. Когда бы ни приезжала я к ней, она всё говаривала: «Какая ж ты худенькая да бледная — садись, покушай».

Ещё бабушка всегда гордилась моими успехами. Вот прям искренне. И неважно, была ли это ночная рубашка, сшитая на уроке труда, или выигранная мною литературная олимпиада — достижение есть достижение, независимо от того, маленькое оно или большое. Такая её поддержка и реакция были мне очень приятны, и это отлично мотивировало на что-то большее.

Да что и говорить — бабушка у меня была просто замечательная! Всегда на моей стороне. Помню, как-то она даже повздорила с родителями, выгораживая меня. Этот её поступок произвёл на меня тогда сильное впечатление — я была очень горда своей бабушкой.

Ну а теперь... Теперь я уже совсем взрослая, мне тридцать один год. Бабушки давно нет с нами. И никто не заботится обо мне как в детстве — с такой теплотой и самоотдачей, никто не говорит *тех* приятных слуху слов, но остались многочисленные воспоминания, которые я до конца своих дней буду бережно хранить в сердце.

А ещё я знаю — там, наверху, бабушка всё ещё приглядывает за мной и улыбается вместе со мной. Вот прям как сейчас.



Татьяна Гуркова

г. Моршанск, Тамбовская область

ВЕРА МАТЕРИ

Настасью перед войной жизнь забросила в Краснодарский край. После 22 июня она даже и попыток не делала на родину вернуться. Попробуй доберись до далёкой деревушки, что затерялась в тамбовских чернозёмах, через полстраны, да с детьми на руках. Детей у Насти было трое. Трое жизнерадостных мальчишек мал мала меньше. Старший, Борис, уже школьник, ему и дело несложное поручить можно, и в доме одного оставить, если понадобится; средний, Толюшка, — тот везде с мамкой, ну а она и не против ничуть, мальчик добрый, ласковый. Так и пошли они на базар в памятный злополучный летний день: Настасья в своём ситцевом платье в жёлтый цветочек, Николенька-грудничок на руках, а Толюшка, радость мамина, за подол держится. Посмотрят черноглазые торговки на русую вихрастую головёнку, голубые глазки приветливые и, глядишь, подобреют, по несколько копеек точно скинут.

Тётка Анисья, продающая табак на углу у самого базарного входа, окликнула Настасью, спросила, есть ли вести от мужа. Не успели женщины и парой слов обмолвиться, как всё вокруг завыло. Бомбят! Со всех сторон кричали люди, торговки прятались под прилавки, покупатели падали на землю, накрывая головы корзинками и мешками, словно те спасут. Паника поднялась нешуточная. Настасья бросилась за мешки с табаком, прикрывая Николеньку собой. Подумала: хорошо, что Толюшка всегда за подол держится, никуда не денется от неё. В этот самый момент поняла: ручонка сына отцепилась от её платья, видно, в суматохе оттолкнул кто-то.

Немецкие самолёты улетели довольно быстро. Базарный люд приходил в себя, кто одежду отряхивал, кто убытки подсчитывал, были и раненые, но жизнь продолжалась.

Настасья, оглядываясь по сторонам, позвала: «Толя, сынок! Толюшка!» Мальчик как в воду канул. Женщина кричала громче и громче. Маленький Николенька, напуганный и голодный, разрывался от истошного плача. Торговки посочувствовали: «Иди, девка, милая, домой, найдётся твой Толик, если что, так тётка Анисья его к тебе приведёт».

Дома их ждал перепуганный Боря. «Мамочка, вы живы!» — обрадовался в первое мгновение мальчик, но, увидев, что Толика нет с ними, осёкся, замолчал. «Придёт наш Толик», — только и сказала, опуская Николку на кровать.

С того дня она жила уверенностью, что Толик придёт, обязательно придёт, Толюшка найдёт маму.

Через несколько месяцев принесли похоронку на мужа. Настасья покричала, как кричат все бабы, получая похоронки, но с того дня появилась в ней решимость вернуться домой, на Тамбовщину, где тихо, нет бомбёжек, но есть небольшой родительский домик. «А уж туда и Толюшка вернётся», — думалось ей.

Сборы были недолгими, вещей раз-два и обчёлся, да и добрались удачно. Редко кто так удачно и быстро в войну на такие расстояния добирался, а им удалось. Настасья сочла это за добрый знак, мол, привёл их Господь к дому, чтобы там с Толюшкой встретиться.

Шли годы, а от Толика вестей никто не получал. Настасья работала в колхозе телятницей и продолжала ждать. Старший Борис женился, привёл невестку в дом к матери, там и сынишка у них появился, Толиком назвали. Младший Николенька, что вымахал плечистым рослым парнем, отправился в армию служить. Соседи говорили Настасье: хватит уже поджидать, на этих сыновей любуйся. А той всё думалось: «Где-то мой Толюшка?»

Толик меж тем был жив и здоров. Паника в тот злополучный день оттеснила его от родных, людская толпа вынесла за пределы базарной площади, там под высоким старым тополем, где собирались беспризорники, он и сидел, тихонько подвывая после бомбёжки. И так уж случилось, именно в этот день и час пришла машина за беспризорниками, в годы войны особо не разбирались, отправляя их в детские дома.

Кто ты и откуда, всё потом-потом, а сейчас главное — чтобы в живых остался.

Так Толик очутился в детском доме города Днепропетровска, где благополучно вырос, рассказывая каждому встречному-поперечному, как он скоро найдёт своих родных и обнимет свою мамочку. Анатолий помнил, где родился, как звали родителей и братьев, смутно, но представлял и дом, где жили до войны. На адрес сельсовета писал письма, но ответов почему-то не получал. Может, люди неотзывчивые попадались, может, почта подводила. Кто теперь знает, кто скажет...

Анатолий получил специальность, квартиру от государства, устроился на завод работать, женился. За повседневными хлопотами мысли о родительской семье стали забываться, уходить на дальний план.

Однажды от профкома получил путёвку в санаторий, там познакомился с парнем с Тамбовщины, разговорились. Рассказав ему свою историю, Анатолий попросил разыскать следы родных, вдруг да удастся хоть что-то узнать, если матери нет в живых, то хоть про братьев. Земляк, вернувшись к своим родным чернозёмам, стал наводить справки. И ведь нашёл! Только не всех.

Здоровяк-красавец Николенька погиб при исполнении воинского долга или каких-то там обязанностей, более точно никто не знал, что приключилось с ним. Отдавал долг Родине...

Только отпустили сорок дней Николаю, заболел воспалением лёгких Борис, слёг, да так и не поднялся. Остался сынок и жена молодая. Настасья оставила их у себя, куда уж отделяться-то, ни к чему им по чужим углам мыкаться, здесь всё родным стало. Так и вырос Анатолий-младший на бабушкиных хлебах, учиться в райцентр ездил. Сама Настасья жила хлопотами и мыслями о том, как сынок её Толик вернётся домой, как обнимет она его и скажет: «Я знала, Толюшка, ты найдёшься. Мне не верили бабы, но я-то верила, я знала».

Соседи и сноха Анастасии были в курсе истории, лишний раз старались душу ей не бередить, не напоминать. Все давно привыкли к тому, что она ждёт сына, не обращали на это внимания, пусть себе ждёт, если так легче. Сноха иногда

тихонько говорила Толику-младшему: «Ты с бабушкой не спорь, столько горя на неё свалилось, тут и зачудить недолго». Он и не спорил, много времени на учёбу уходило и на поездки в райцентр.

Как-то раз, стоя на остановке, поджидая автобуса, почувствовал, что за спиной у него переговариваются. Оглянулся. Люди кивали то на него, то на мужчину средних лет, стоящего чуть поодаль с круглолицым пацаном (сыном, тут и выяснять не нужно, так заметно фамильное сходство). «Как две капли воды!» — не таясь уже, галдели земляки. И тот и другой Анатолии сразу всё поняли, одновременно. Анатолий-старший, поздоровался за руку с Анатолием-младшим, обнял его и зажмурился, чтобы сдержать слёзы. Так и вошли в сельский пазик, прижмуриваясь, словно от яркого солнца.

Что померещилось или пригрезилось Настасье в тот день, она и сама не могла объяснить, только вышла встречать автобус, как сердце подтолкнуло. С ним же, этим сердцем материнским, чуть плохо не стало, когда автобус совсем близко подъехал. Он не остановился ещё, а она уже увидела три лица одинаковых, её родненьких, её мальчишек. Объяснений не потребовалось. Настасья лишь твердила: «Вот и нашёл нас Толюшка! Вот и дождалась я тебя, сынок!» Соседки плакали. Даже вредная бабка Макариха, которая Настасью давно блаженной считала, расчувствовалась: «Ты, Настя, прости меня, дуру старую, я ведь не верила, что Толя твой жив, думала, умом ты с тоски тронулась. Война-то уж боле двух десятков годов кончилась, а ты всё ждёшь. Вразумить всё тебя хотела, чтоб не страдала ты, не ждала, душу не трепала. Кто ж знал-то! Сказали б мне люди — сроду б не поверила. Вона оно, как всё обвернулось!» Настасье было всё равно, что говорят и думают вокруг, ведь её Толенька вернулся, дождалась она своего мальчика, и откуда-то со дна родительского сундука достала помолодевшая женщина ситцевое платье в жёлтый цветочек, за подол которого держался когда-то Толик. «Не теряйся больше, сынок», — только и смогла сказать сквозь слёзы радости.

НЯНЮШКА

Когда умерла моя няня, мне было чуть больше лет, чем моей младшей дочери сейчас. По этому сравнению можно догадаться, что времени с тех пор прошло немало. Однако до сих пор простить себе не могу того года, когда няня слегла и уже почти не поднималась. Мы тогда уже жили в другом доме, но Химмаш не так уж велик, чтобы не найти минуты и не забежать навестить больную старушку. Я не совсем чтобы не приходила, нет, я, конечно, навещала её, только мало и бестолково. Зайдя в тесную квартирку, терялась от запаха болезни. Мне казалось, что та маленькая сухонькая ручка, что всё время ловит мою руку, вовсе не принадлежит няне Анастасии, бабе Насте. Я норовила вручить ей какой-нибудь гостинец, пробормотать несколько слов и бесшумно выскользнуть из её комнаты. Мне верилось, что я ещё успею сказать ей, как она мне дорога, обязательно скажу, пусть только поправится, чтобы не так жутко было заходить к ней в комнату. А потом всё внезапно закончилось и сын моей нянюшки, дядя Боря сказал: не плачь, Татьяна, ей будет грустно от твоих слёз. Её взрослая внучка тоже утешала меня, рыдающую взахлёб: «Ну что ты, Таня, она тебя очень любила и, даже когда умирала, помнила о тебе. Она нас почти уже не узнавала, мучилась, а про тебя спрашивала. Сейчас она просто отмучилась, так всем будет лучше». Как это лучше?! Кому лучше?! Тысяча вопросов крутилась в голове. Было жалко бабу Настю, так и не услышавшую от меня тёплых слов, жалко себя, такую неприкаянную без бабы Насти, жалко этот мир, потерявший так много с уходом моей нянюшки.

...Мне четыре года. Рисовать хочется страшно. Я перевожу бумагу килограммами. Бумаги мало — ужасно хочется рисовать на мебели, одежде, постельном белье. Мама в ужасе и только успевает ставить меня в угол. Однако в углу я тоже рисую на обоях. Мама грозит отдать меня цыганам, связывать мне руки, никогда не покупать карандашей и красок. Пользы никакой, но нервов тратится много. После каждого разгона я сбегаю с третьего этажа на первый к бабе Насте, прячусь в большой комнате под стол с длинной, в пол,

скатертью и затихаю. Баба Настя топчется возле стола. Потом вроде бы как в никуда говорит: «Порисуй, моя ласточка, под столом порисуй, я никому не скажу». Подсовывает мне под стол карандаш и уходит на кухню готовить что-нибудь вкусненькое.

...Мне пять лет. Я уже читаю. Мои домашние не верят и особо не прислушиваются. Понятно, что чтением детских книжек и азбуки своего умения не докажешь, а взрослых книг мне не дают. Обижает ужасно. Я прихожу к бабе Насте, она даёт мне самые толстые книжки и слушает, как я читаю. Естественно, в этих толстых книжках для меня очень мало знакомых слов, поэтому время от времени я привираю и наполняю книги технического содержания сказочными историями. Баба Настя слушает и радуется.

...Мне семь. Первое сентября. На линейке выяснилось, что меня в школу не записали. Мама за руку вводит меня в первый попавшийся класс и идёт разбираться, а может быть, просто писать заявление о приёме в школу. Я сдерживаюсь, чтобы не заплакать. После торжества бегу вперёд мамы к дому, но иду не к себе домой, а к бабе Насте. Она уже напекла мне моих любимых пирожков с яблоками, сварила черничный кисель и ждёт меня на кухне у окна. Начинаю жаловаться на несчастный день, она слушает, не перебивая, гладит по макушке и вздыхает. Потом, когда я жду слов сочувствия, нянюшка говорит: «А ты учись, Танюшка; сложно, а ты всё равно учись, обидно, а ты учись ещё лучше. У тебя мама с папой инженеры, уважаемые люди, и не потому уважаемые, что начальники, а потому, что много учились, много знают. И ты учись, моя ласточка. Я вот мало училась, и горько бывает от этого, а ты выучишься — буду за тебя радоваться». Я, малявка, сначала возмущаюсь, зачем она хвалит мою маму, которая и в школу-то меня не записала, потому как некогда ей было, потом начинаю понимать. Сейчас, спустя не один десяток лет, я думаю, какой же мудрой она была — моя нянюшка.

Няни были у многих. Нанимали нянек и мне. Им платили, их кормили, дарили подарки, но я их не помню. Помню лишь свою нянюшку бабу Настю, которая в моей жизни появилась

как-то нечаянно. Приехала в наш дом в наш подъезд жить к сыну. С тех пор все варежки и носки, которые я носила, были её изготовления. После первых варежек с «кружавчиком» по краю моя мама попыталась совать бабе Насте какие-никакие деньги. Баба Настя отвергла материальные отношения. Отношения душевные остались.

...Мне восемь лет. Вчера нам в школе объявили, что придёт фотограф, будем сниматься на общее фото, всем нужно явиться нарядными. Мама приготовила мне белый фартук и белые туфли, не новые, доставшиеся от кого-то «по наследству», но вполне приличные. Я одеваюсь, кручусь в прихожей возле трюмо, остаюсь довольной своим отражением в зеркале. Перед школой мы оравой одноклассников заходим в локомотивное депо, поглазеть, как обычно. Десять минут — и мы в школе, но и этих минут вполне хватило, чтобы безнадёжно испортить белые туфли. В их малость облупленные носы намертво въедается мазут. Делаю вид, что ничего не произошло. Фотография предательски показывает всем, как я, сидя в первом ряду, прячу под скамейку свои туфли. В отвратительном настроении захожу после школы пожаловаться нянюшке, предвкушая будущую мамину лекцию и долгое стояние в углу. Баба Настя сочувствует, оттирает мазут, замазывает облезлые туфельные носы зубной пастой — и, о чудо, мама ничего не замечает.

...Мне шесть лет. Мы только приехали с похорон моей родной и любимой бабушки. Я в недоумении и тоске. Абсолютно не хочу идти в детский сад. Мама требует взять себя в руки, не раскисать и быстро собраться. Прибегаю к последнему средству: говорю, что мне нужно непременно сегодня помочь бабе Насте. Не помню, в чём должна была заключаться помощь. Мама спускается на первый этаж и спрашивает у нянюшки, правда ли это. Моя невольная сообщница подтверждает, и я, взяв с собой старые часы, единственную вещицу, привезённую на память из бабушкиного дома, отправляюсь к нянюшке. А вечером она тихонько говорит моей маме, что я заболеваю. Мама не верит, но я действительно заболеваю и целую неделю вместо детского сада хожу к бабе Насте.

Ни у кого в жизни никогда не было таких вкусных толстых блинов, как у моей нянюшки. Её сноха тётя Аня тоже готовила очень вкусно, но с нянюшкой, конечно, не сравнить. Когда я стала подрастать и из милого застенчивого ребёнка-фантазёра превращаться в подростка с мятущейся душой и внешностью гадкого утёнка, как говорила соседка из квартиры № 58, только баба Настя видела во мне всё ту же милую девочку из хорошей семьи. И всё так же неизменно зазывала меня на блинки, на пирожки, киселька попить, семечек горячих калёных насыпать. Я, паршивка такая, для виду мухортилась, но приглашениям радовалась.

...Мне девять лет. Кувыркаюсь на трубе под окнами, потом, цепляясь за неё коленками, повисаю вниз головой. Баба Настя стучит в окошко: «Танюшка, зайди». Я мотаю головой отрицательно. Баба Настя опять стучит: «Танюшка, зайди, варежечки тебе примерить надо». Отвечаю, что не могу, жду девчонок, мы сейчас гулять уходим. Опять стучит: «Танюшка, зайди, пока варежечки мерить будем, киселька попьёшь». Спрашиваю, какой кисель. Черносмородиновый кисель меня привлекает. Захожу. Нянюшка примеряет мне варежки, смотрит, на месте ли будет большой палец, приговаривает: «Пальчики тоненькие, длинненькие, музыкальные, благородные, нельзя такие пальчики морозить». Допиваю кисель. Баба Настя насыпает мне в кулёчек тёплых семечек и помогает аккуратно положить кулёк в карман куртки. На меня накатывает чувство благодарности, и я целую её морщинистую щёку, почему-то пахнущую ванилью, корицей и, наверное, нежностью. Выскакиваю из кухоньки. Нянюшка провожает меня добрым взглядом.

У нянюшки была своя семья, со своими бедами и радостями. Всех она встречала на маленькой кухоньке вкусной едой и добрым словом, зачем она в круг опекаемых приняла ещё и меня, мои родители недоумевали. Я могу только догадываться, но как я ей благодарна за то уважение к родителям, которое она мне привила, за любовь к учёбе, тягу к знаниям, за то, что дала возможность не чувствовать себя неприкаянной! За то... за то... за то, что была она в моей жизни, такая тёплая, милая, своя.

Вспоминаю, как она, отложив домашние дела, садилась смотреть со мной «Приключения Буратино», как слушала мои сказки и дурацкие стихи, как разрешала играть с предметами, с которыми не играют, как сушила мои мокрые сапоги и переделывала криво пришитые мной на форму манжеты. Она соглашалась принять участие во всех выдуманных мной спектаклях и рассеивала мои детские обиды. Она, моя нянюшка, научила меня одной бесценной вещи — просить прощения у дорогих людей, даже если не считаешь себя виноватой. Она прощала меня за глупые детские выходки, а вот сама себя я простить не могу — за то, что так и не сказала ей главного: как я её люблю.



Александр Дубровин

г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область

МЕДАЛЬ

Старое поселковое кладбище. Белизна берёз среди зелени. Одна к одной оградки могил. Тёплый летний покой. Вокруг надгробий как будто вечное торжество над шумной жизнью, над людской суетой. Антон присел у могилы отца. Железная, чёрного цвета, гробница: над фотографией — красная звёздочка, а рядом чьей-то рукой нарисованный мелом крестик. На поблекшем фото высоколобое, упрямое лицо с удивлёнными глазами. Отец жил всегда чему-то удивляясь. Таким он и остался у многих в памяти.

— Вы не сын ли ему будете? — полная пожилая женщина стояла рядом и смущённо улыбалась. Антон вгляделся в отдалённо знакомое лицо и кивнул головой.

— А меня не помните? — обрадовалась женщина. — В соседях жили. Степан одноногий, помните? Дочь я его.

— Вы Маринка! — удивившись, машинально выпалил Антон.

— Маринка, Маринка, — поддакнула женщина, — теперь уже Марина Степановна, — и в её добродушных карих глазах — видимо, Антон желал этого — словно разглядел он улицу, что поднималась к конторе «Леспромхоза», а за конторой всегда всходило солнце — оранжевое, огненное, несущее тепло и свет. Девочка-соседка Марина была старше Антона и его друзей. Они, пацанята, бежали за её отцом, который, пьяный, неуклюже ступая деревянной культёй, шатаясь, брёл к дому, и кричали вслед: «Одноногий, одноногий — хромоножка». Маринка выбегала навстречу, хватала какого-нибудь пацанёнка и валяла его по земле. Она дралась одна со всеми, защищая отца. С взлохмаченными волосами и покрасневшим лицом, она, махая руками, громко выкрикивала:

— Он солдатом был! Родину защищал!

Сорванцы, среди которых и он — маленький Антошка, отбегали от неё, писклявыми голосами повторяли: «Хроможка», — и показывали ей языки. Когда такое увидел отец, он ухватил Антошку за шиворот и привёл с улицы домой. Он хлестал Антошку солдатским ремнём, и сын криком голосил: «Я больше не буду!» Давно повзрослевший Антон, думая об этом и понимая правоту отца, вспоминал его с любовью и большим уважением. Отец и дядя Степан слыли друзьями. Вместе на работу, с работы, и на лавочке у забора рядышком. Отец работал в «Леспромхозе» плотником, дядя Степан — сторожем. Старший по возрасту, он воевал. В сорок четвёртом вернулся с войны без ноги и с контузией. Отец рассказывал, что у дяди Степана была медаль: во время боя он спас командира, прикрыл его своим телом. Инвалид, в потёртой рубахе летом, в ватнике зимой и, за исключением зимних морозов, когда ходил в ушанке, в остальное время года в надвинутом на лоб помятом картузе, — он помнился Антону сидящим на лавочке с прикуренной папиросой.

— Папа здесь похоронен, — Марина Степановна указала на расположенный в стороне свежевыкрашенный железный памятник.

— И на фото в фуражке, — Антон, приблизившись, вгляделся в старую фотографию.

— Он без фуражки только спал. Медаль у него была — с войны привёз, он её в тряпочке в кармане носил, и картуз — вторая любимая вещь, — женщина улыбнулась и, чуть помедлив, спросила: — Ну а вы как поживаете?

— Живём и трудимся, — не замедлил с ответом Антон. — Семья у меня. Достаток есть. Сейчас в отпуске. Вот приехал и к отцу на могилу пришёл.

— Родителей надо помнить, — с одобрением в глазах Марина Степановна взглянула на собеседника.

— Про медаль я в детстве от отца слышал, — заинтересовался Антон.

— О, это длинная история! Если желаете, могу поведать. — Марина Степановна присела на лавочку у гробницы, а рядом устроился Антон.

— Папа рассказывал, что шёл бой и их сильно бомбили, а командовал ими молодой лейтенантик. Поднимал их в атаку. Он встал в рост, а папа рядом поднялся — и тут взрыв, — безнадёжно развела руками Марина Степановна. — Папу отбросило на лейтенанта. Упал он на командира, телом прикрыл. У того ни царапины, а папу с осколками в госпиталь. Еле выходили. Лейтенант писал письма в госпиталь, о здоровье справлялся. Папа берёг эти письма. Все привёз домой. А у лейтенанта этого отец в каком-то штабе служил в большом чине. Узнал он эту историю от сына и похлопотал насчёт медали. Вернулся папа с войны без ноги, полуглухой, с письмами и с медалью «За отвагу», — хлопнув себя по коленке и тяжело вздохнув, Марина Степановна продолжала: — Лейтенантик этот оставил адрес своей семьи, и после войны папа писал в город Саратов и получал письма в ответ. К нам приезжала мать лейтенанта, опрятная седая женщина. Грустная очень. Тамара Петровна её звали. Письма папины почитала, расплакалась, сказала, что сын служит и у него высокое звание, а самому ему приехать нет возможности. Со слезами она и уехала. Папа тогда медаль свою по нескольку раз на дню протирал. О лейтенанте говорил, что он до генерала дослужится, стране пользу принесёт! — Марина Степановна, как бы в подтверждение своих слов, утвердительно кивнула головой. — Это его и поддерживало, с этой радостью он жил. Потом уж, сколько лет-то прошло? Я уже замужем была, и ответные письма из Саратова приходить перестали. Взял однажды папа отпуск, достал костюм, который не помню когда и носил, примерил новую фуражку, — рассказчица с грустью улыбнулась, — и поехали мы с ним в Саратов. Как сейчас вижу солнечную привокзальную площадь Саратова. Добрались мы по адресу. Встретила нас девушка — оказалось, племянница Тамары Петровны. Саму Тамару Петровну несколько лет назад похоронили. Про сына её, того лейтенанта с войны, племянница вспомнила. Полистали семейный альбом, нашли его фотографию, почитали письма Тамары Петровны. И знаете, что произошло? — дотронулась рассказчица до плеча Антона. — Оказывается, погиб он в самом конце войны, в мае, в звании капитана. Тамара Петровна к нам приезжала и папе

не сказала. Захотелось ей сохранить эту папину надежду, эту радость, с которой он жил. И письма из Саратова она писала. Узнал папа обо всём и словно с лица потемнел. Обратно домой возвращались — выглядел он сутулым, еле поднимал свою культю. Прожил он потом меньше года и медаль из кармана не доставал, а умер, в кулаке её зажав. Хотели руку разжать, да пальцы закостенели, не ломать же их. Так и похоронили с медалью в кулаке, — Марина Степановна протирала платочком влажные глаза. — Заговорилась я с вами, а у меня дома трое внуков и дела по хозяйству. Мы в том же доме живём. Заходите в гости, коль уж на родину приехали.

— Да, конечно, — согласился Антон, глядя вслед торопливо уходящей женщине. Он незаметно мысленно погрузился в далёкое своё прошлое. Перед ним как наяву предстало лицо девочки Марины. Раздутые в справедливом гневе щёки и открытые широко, готовые расплакаться глаза. В памяти послышалось, словно донеслось откуда-то рядом, надрывно и звонко: «Он солдатом был! Родину защищал!»

Антон поднялся с лавочки и преклонил голову у памятника отцу Марины Степановны.

— Слава вам, защитники Родины, и вечный, на все времена, почёт, — еле слышно произнёс он над могилой, а в голове его, в разгорячённом его сознании, слова эти прозвучали как победный набат, как салютные залпы из артиллерийских орудий!

Михаил Забелин

г. Приволжск, Ивановская область

МАТУШКА

Memento mori (Помни о смерти)

Однажды ночью я умер. Я умер во сне, или приснился сон, что я умер. Теперь мне кажется, что это даже не важно: настолько тонка грань между сном и явью, между жизнью и смертью. Всего лишь переход из одного состояния души в другое.

Когда наутро я увидел в окно те же дома и деревья, оказалось, что ничего не изменилось, просто жизнь забрала у меня ещё один день. Мы, как дети, воспринимаем своим сознанием лишь то, что видим. Большего нам знать не дано. Мы, как дети, боимся темноты и страшимся неизведанного.

Однажды ночью умер не я — умерла моя матушка. Она прожила хорошую, долгую жизнь. Ей было девяносто лет.

— Посмотри на эту фотографию. Узнаёшь? Это ты маленький.

— Вот я ещё фотографии нашла. У тебя такие есть?

— Я тебя угостить хочу. Вот тортик принесла.

— Ты на улицу собрался? Одевайся потеплее.

— Знаешь, о чём я тебя попрошу? Купи мне шоколадку. Врачи говорят, что мне нельзя сладкого, а я люблю. Теперь уже можно.

— Одну фотографию я никак не могу найти. Ту, где я на войне.

Мы страдаем и плачем, если не все ещё слёзы выплаканы, когда умирают наши родные. Мы чувствуем себя виноватыми, словно не уберегли, не удержали, не позволили пожить им ещё немного. Будто вовремя не смогли, не успели попросить прощения.

А может быть, нам жаль не умершего, а самих себя? Как жить дальше одному? — и продолжаем жить.

Жизнь — это движение. Смерть — покой. Всё закончилось, и нет больше ни игры, ни страстей, ни желаний, и не нужно больше терпеть, ничего не надо.

До тридцати лет, если ты здоров и не испытал войны, живёшь, не помня о смерти, не думая о том, что всему когда-нибудь приходит конец, что кончается и жизнь.

После тридцати начинают тебя посещать мысли о смерти. Вокруг большой, яркий мир, в котором крутятся и пересекаются миллиарды жизней, в том числе и твоя. Но этот мир был и до тебя и останется после того, как ты исчезнешь. Тебя не станет, а мир этого даже не заметит.

Только когда задумываешься о конечности бытия и о смерти, — только тогда начинаешь сознательно стучаться мыслью к Богу. И начинаешь понимать, что Бог даёт человеку жизнь и сохраняет её только ради него самого, не для того, чтобы он спас или осчастливил человечество, а ради него самого, единственного и недолговечного в этом свете. А если Бог создал человека по подобию своему, то не может человек вместе со смертью испариться в никуда, а лишь перейдёт в новое состояние души, известное только Богу, а нам непонятное и потому пугающее.

Наверное, если человек дожил до девяноста лет, он уже видит смерть — не умирание, а то, что с ним будет потом, и не страшится её.

Матушка любила доставать, перебирать и показывать гостям старые фотографии.

После её смерти на столе осталась лежать одна из них: молодые, радостные мама и папа с младенцем на руках.

Все понимали, что жить ей оставалось недолго, и она тоже спокойно сознавала, что жизнь прожита.

Я сижу рядом с маминой пустой кроватью, как возле гроба. Мамы нет, а мне будто всё ещё пять лет.

Я умер во сне и возродился снова, потому что матушка продолжала жить и во мне, и рядом со мной.

* * *

Я вспомнил тот сон, похожий на явь и на смерть.

На берегу извилистой реки возвышался монастырь. Там, в аллеях монастырского сада, я познакомился с матушкой Евдокией.

Белокаменный женский монастырь скрывался за высокими стенами и старинными воротами. Просторный двор пересекался асфальтовыми дорожками и зеленел травой.

Вокруг монастырского храма с чудотворной иконой Богоматери толпились паломники и туристы. Когда верующие вышли со службы во двор, они обступили матушку Евдокию.

— Благослови, матушка.

Почему-то из толпы протягивающих к ней руки людей она выбрала одного молодого парня, стоящего поодаль, и сказала ему:

— Подойди ко мне. Тебе тяжелее других здесь. Ты больше нуждаешься в утешении. Давай отойдём, и сними с себя камень.

Я не знаю, о чём они говорили, но я видел, как разгладилось лицо этого незнакомого мне человека.

Как оказалось, матушку Евдокию богомольцы знали и приезжали к ней издалека.

Я торопился уйти от толпы подальше, чтобы остаться одному и больше не слышать голосов и не видеть лиц: страждущих и равнодушных, фанатичных и насмешливых.

Распахнутые по другую сторону монастырской стены резные ворота вели в тенистый сад. Стоило только пройти через них — и позади оставались звуки и голоса, а впереди была благодать, тишина, покой и уединение. Я вошёл, и было совсем не страшно, а приятно уйти от людей и оказаться в саду, наполненном ароматом цветов и деревьев.

Там, в заповедном монастырском приюте, я встретил матушку Евдокию. В чёрной, длинной монашеской одежде она

лицом была похожа на мою мать.

Она встретила меня ласково, так, будто давно ждала. Мы гуляли вдвоём по аллеям и разговаривали, не знаю о чём, но вокруг не было никого, а на душе становилось спокойней и радостней.

Именно тогда я вдруг понял, что раскрывшиеся мне врата и есть то самое пограничье, которого люди страшатся, не ведая, что за ним: мрак или свет.

Какой необычный монастырь. Не сразу понимаешь, что он повторяет наш мир: тот, где мы живём, и тот, в который мы потом переходим. Стоит лишь пройти через старинные ворота, если тебя позовут.

— Я хочу показать тебе свою келью, — сказала матушка и назвала меня по имени.

Я не удивился и пошёл вслед за ней.

Келья была тёмной и освещалась лампадами под ликами Спасителя и Богоматери. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел в маленькой комнате узкую кровать, стол, два стула и шкаф у стены. На шкафчике стояло несколько фотографий.

Когда мы присели за стол, матушка показала одну из них. С фотографии улыбалась девушка в матросской форме с медалью на груди.

— Мне здесь двадцать лет. Я на флоте воевала, в химической защите. Глупо сейчас может показаться, ведь чуть не погибла. А тогда просто написала заявление и пошла добровольцем на фронт. Родители остались в эвакуации, переживали очень.

Нас много было: таких же девчонок. Молодые, ничего не боялись.

Меня отправили в Ленинград. Он уже тогда был в блокаде. Нас погрузили на корабли и повезли через Ладожское озеро. Шёл целый караван кораблей, а на палубах сгрудились плотно в кучку молоденькие ребята и девчонки. Я тогда в первый раз увидела фашистские самолёты. Чёрные, с крестами, они с воем заходили на нас и бомбили, бомбили. А мы даже спрятаться никуда не могли. Очень страшно было. Одна бомба попала в корабль, идущий перед нами. Он разломился и ушёл

под воду. Из-за столба дыма ничего не было видно. Когда дым развеялся, только чемоданы плавали на поверхности.

Вот такой я увидела войну. Потом легче было, привыкли.

А это вот мои подруги, вместе служили. Кто-то из них жив, кого-то уже нет.

Матушка Евдокия рассказывала спокойно, будто со стороны, будто не с ней всё это происходило.

В ней я узнавал свою матушку. Я всматривался в глаза и в лицо и верил, что она не умерла.

Несмотря на свой преклонный возраст, матушка Евдокия никогда не просила за собой ухаживать и всё старалась делать сама.

Она ушла из этого мира, никого не побеспокоив, тихо, во сне, с улыбкой на губах.

ПОКАЯНИЕ

Степан Ильич открыл глаза, и сразу же серое марево неба, обделённого солнцем, высветлило окно и заползло в комнату. Сон провалился и высох каплями на песке.

Степан Ильич оделся, умылся, без интереса посмотрел в зеркало и пошёл на кухню готовить себе кофе. Ничего в квартире не поменялось со вчерашнего вечера. Зеркало врало, что не изменился и он. Хотя на днях попалась на глаза фотография полугодичной давности, на которой он, может быть, впервые вдруг увидел себя старым. Старость подкрадывалась неслышными шагами, неожиданно и бесцеремонно. И он отчётливо понимал её приход, когда ловил себя на мысли, что уже не смотрит, как раньше, оценивающим взглядом на проходящих по улице женщин.

Сегодня никуда не надо было идти. Не хотелось и выходить из дома, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Жаль, что у него не было собаки или кошки: он бы поговорил с ними. Захотелось выпить, но Степан Ильич отогнал навязчивую мысль, боясь, что после двух-трёх рюмок водки он уже

не сможет остановиться. А напиваться было противно: потом подступала анестезия памяти и усталость от жизни. Полгода назад он случайно почувствовал в метро, что незнакомые люди стараются брезгливо отодвинуться от него: видимо, тогда он был не в лучшей форме. Это настолько поразило его и унизило самолюбие, что на следующий день он перестал пить совсем. Не стоило начинать — для него это как не жить. А Степан Ильич любил ощущать жизнь: и в себе, и вокруг.

Возникло неистребимое желание выговориться, но в своей тоске он ещё не дошёл до состояния полубезумия, чтобы разговаривать с самим собой. Горькая настойка из давешнего сна и мыслей, занимавших его в последние годы, обернулась образами и воспоминаниями. Тогда он положил перед собой на стол стопку чистой бумаги и принялся писать письмо. Хотя заранее знал, что оно никогда не будет отправлено и прочтено.

* * *

Здравствуй, доченька.

Теперь ты уже большая и, может быть, поймёшь то, что я хочу тебе сказать, или хотя бы выслушаешь меня.

Один из самых тяжких человеческих грехов — это гордыня. Из-за неё мы расстались с твоей матерью, а я потерял тебя.

В ком из нас, в ней или во мне, этой гордыни было больше, не знаю. Раньше я винил её, теперь себя считаю виноватым. Я расскажу, но сначала хочу вспомнить тебя, нас с тобой, когда ты была совсем маленькой.

Ты, конечно, не можешь помнить тех счастливых часов, когда ты лежала укутанная в коляске и мы гуляли с тобой по пробуждающемуся от зимы Измайловскому парку. Твои глаза цвета мартовского неба серьёзно смотрели в его глубину, будто ты видела там ангелов, или свою прошлую жизнь, или своё будущее.

А помнишь, как мы играли в терем-теремок в парке, а потом придумали с тобой медвежью берлогу и ходили туда подкармливать медвежат? А на ночь я тебе рассказывал сказки.

Тебе уже было пять лет тогда, ты должна это помнить.

Моя память, как в заветном сундучке, прячет и хранит наши прогулки, твой смех и твои слёзы. Но почему-то я вижу сквозь прошедшие годы только нас с тобой, а твою мать отдельно. Тебя рядом с ней я помню только однажды: через несколько дней после твоего рождения. Она держала тебя на руках, и лицо у неё было спокойным и мягким, будто невидимые ангелы склонялись над ней и над тобой. Я всегда удивлялся и восхищался лицами кормящих матерей, в них есть нечто особенное: тихая радость и умиротворение, неведомая другим тайна Богоматери, мадонны или твоей мамы.

Только тогда, всего лишь один раз, я запомнил вас вместе. Это было не так, конечно, но так помнилось.

Я не вижу нас втроём, вот в чём дело. Думаю, что и твоя мать воспринимала тебя отдельно от меня. Мы оба очень тебя любили и забывали друг друга. Эта ревность к тебе превращалась в глупое состязание: кому ты нужнее, кто сильнее тебя любит.

Это не в упрёк тебе. Только мы виновны в том, что не любили друг друга. Это мы виноваты, что ещё совсем маленькой ты разрывалась между нами, и подлаживалась под каждого из нас, и страдала, сама не понимая отчего. Мне больно теперь думать, что ты могла страдать из-за нас, а мы этого тогда не чувствовали.

Мы с твоей мамой расстались, но я ещё несколько лет приезжал вечерами и в выходные, чтобы увидеть тебя, поговорить и поиграть с тобой.

Помнишь ли ты те далёкие дни, или обида уже давно перечеркнула и запрятала в дальний угол твоей памяти эти дорогие для меня воспоминания? А я вот перебираю мысленно, как янтарные чётки, те наши встречи. Я помню названия всех книг, которые я тебе читал. Я уже не забуду до смерти стихи, которые мы с тобой учили наизусть. Мы играли в кукольный театр и придумывали спектакли и роли. Я понимаю: теперь ты уже совсем взрослая, и мысли, и чувства у тебя о другом. Я один, уже без тебя, задержался в том времени, потерялся навсегда в Измайловском парке и, как старая, уставшая

пластинка, наигрываю марш прощания, провожая первого сентября тебя в школу, в первый класс.

Потому что потом всё оборвалось.

Ты мне ответила бы сейчас: «Это ты во всём виноват». Я догадываюсь, что тебе тогда сказали и что рассказывали обо мне все эти годы, если говорили вообще.

Я не буду оправдываться, потому что, кто бы ни был виноват, больше всего потеряла и пострадала ты. Ведь главное не в степени вины, а в её последствиях. И хотя ничего уже не изменишь и не исправишь, я попытаюсь тебе объяснить.

Когда есть любовь, ты не видишь недостатков в другом человеке, или не хочешь их замечать, или приукрашиваешь их. Когда любви нет, эти недостатки превращаются в уродство. У каждого есть свои пятнышки, но если любовь обернулась ненавистью, эти пятна чернеют язвами, а слова становятся страшнее пистолета.

Я уже не жил с вами к тому времени и приезжал только к тебе. И шёл каждый раз как на дуэль с отравленными пулями. Я думаю сейчас, что твоя мать ревновала меня: и к тебе, и к незнакомым ей и мне женщинам. Но всякий раз искорки обид и ядовитых слов занимались пламенем скандалов, которые было уже невозможно потушить.

Не хочу тебе о них рассказывать, и дай Бог тебе никогда их не знать.

В один из таких скандалов меня выгнали из дома, выставили за дверь, как нашкодившего щенка.

Не знаю, говорили ли тебе, но я стал через суд добиваться наших свиданий. Суд состоялся, время встреч было определено, ничего не изменилось.

Тяжба растянулась, и я увидел тебя лишь через несколько месяцев. Я очень хорошо запомнил этот день. Ты сидела на качелях во дворе и отвечала на мои вопросы: «Да, нет, нормально». Как можно было так быстро перемениться ко мне? Ведь нам всегда было хорошо вместе.

Твоя мать стояла рядом и лишь повторяла, что ты больше не хочешь меня видеть. И тогда я впервые подумал: может быть, я действительно настолько гадок и тебе только хуже, когда я рядом?

Ещё только раз я повторил свою попытку. Я приехал к вам с каким-то подарком для тебя. Твоя мать сказала странную фразу, которую я до сих пор не могу понять: «Зачем ты пришёл? Она только начала успокаиваться». От чего, от кого успокаиваться? От меня? Ты стояла в конце коридора и плакала навзрыд.

Такой маленькой, обиженной девочкой я тебя увидел в последний раз.

Я понял, что стену, возведённую между нами, нельзя ни пробить, ни преодолеть. Я больше не звонил и не приезжал.

Не думай, пожалуйста, что я забыл о тебе. Нет, все эти годы ты жила и росла в моей памяти и в моих снах.

Ты спрашивала меня о гордыне, о пороке гордыни. Понимаешь, тогда и я, и твоя мама — мы оба не чувствовали себя виноватыми и винили друг друга. А надо было просто забыть о себе и покаяться, перед тобой покаяться.

Мы не могли этого осознать тогда. Самое ужасное в том, что время нельзя воротить назад, а жизнь подправить невозможно.

Я знаю: тебе было очень плохо, маме твоей было трудно и тяжело, мне было больно и одиноко без тебя. Мы ведь с тобой столько недоувидели, недослышали, недоговорили и недолюбили.

Три года назад я почувствовал себя неважно и отчётливо понял, что если не увижу тебя, то умру, как чудище на закате солнца из сказки «Аленький цветочек». Тебе тогда исполнилось уже тринадцать лет, и ты, конечно, не верила в сказки. А я верил, даже знал, что так и случится.

Тогда я позвонил твоей маме. На удивление мы разговаривали спокойно, и я ещё подумал, что все наши дрязги и раздоры остались в прошлом. Я звонил потом много раз, спрашивал, и она рассказывала о тебе. Я, как путник в пустыне, впитывал её слова и представлял тебя. Наконец мы договорились, что я приду на концерт, где ты должна выступать.

Когда ты вышла на сцену в длинном концертном платье, я спрятался за чью-то спину, чтобы ты случайно не увидела меня и не испортила своё выступление. Ты играла на рояле Чайковского и Листа. Как хорошо ты играла, как я восхищался и гордился тобой...

После концерта мы встретились. Ты очень выросла и повзрослела. Мне было приятно, что ты узнала меня. Когда мы вышли втроём на улицу, я расспрашивал тебя о музыке, о школе, о любимых книгах, но отвечала ты скупо и односложно, как вызубренное задание на нелюбимом уроке. То ли твоя мать удерживала тебя своим молчанием, то ли я стал тебе совсем чужим человеком.

Мы больше не виделись, а с твоей матерью встречались ещё несколько раз. Однажды я отчётливо понял, что ничего не изменилось, что она и теперь не сомневается в своей правоте. И в разговоре уже начинают вспыхивать искорки прошлых обид. А я, как заблудившийся слепец, опять упираюсь в ту же старую стену и не могу её обойти.

Страшно, когда некуда идти и не к кому возвращаться. Печально, когда будущее всё быстрее остаётся в прошлом. Жаль, что время и жизнь останавливаются вместе с нами.

Я знаю одно: только если ты сама когда-нибудь захочешь меня видеть, если ты когда-нибудь сможешь понять меня и простить, мы с тобой обязательно встретимся. И тогда, может быть, ты расскажешь мне о том, как ты жила все эти годы, а я подарю тебе свои мысли, чувства, воспоминания и надежды. И недополученную тобой свою любовь.

Я не говорю тебе «прощай», а надеюсь, что «до свиданья».

* * *

Степан Ильич перечитал письмо, аккуратно спрятал его в конверт и выбросил в мусорное ведро.

ПОЧТОВЫЙ РОМАН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Я на коне, толкани — я с коня,
Только не, только ни у меня.
В. Высоцкий

I

Кирпичные коробки домов обступали окно. Вьюгой стучался в стекло февраль. Круг света падал на стол и на белый лист бумаги, под лампой было тепло и мягко, и не хотелось уходить из него, иначе становилось жутко, и белая снежная муть подкрадывалась к окну.

Которую ночь не спалось, и много дней не было сил и желания открывать глаза.

Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. В последние годы писать письма вошло у него в привычку, но вот уже много ночей, когда сон не приходил, а голова наливалась тяжестью и воспоминаниями, он садился за пустой лист и писал одну и ту же фразу: «Любимая, единственная моя Иришенька!» Потом он отрывался от письма и долго смотрел в голую стену, словно хотел разглядеть в ней то, что мучило его и не давало покою.

Перед ним на столе всегда лежала стопка писем, которые он затем долго ласкал руками, а потом медленно перечитывал, бережно повторяя по нескольку раз одни и те же слова.

«Милый мой, дорогой, любимый!

Как здорово получать от тебя письма. Самый счастливый момент в моей жизни. Мне так интересно узнавать о твоей жизни, теперь совсем не такой, какая она была здесь, в России. Я как будто её частично разделяю, но на самом деле ты ужасно далеко. Очень тяжело это ощущать и осознавать. Я сейчас живу только надеждами и ожиданием, хотя порой бывает очень трудно. Но всё это пройдёт, пролетит, и я буду вспоминать об этом времени с большой радостью и даже

гордостью. Как ты говоришь, «всё будет хорошо». Всё будет хорошо. Я верю в это, я знаю это, я тебя очень люблю.

...Какое счастье, что удалось поговорить с тобой по телефону. Я весь день танцевала...»

«Любимый мой, родной, здравствуй!

Ты знаешь, после разговора по телефону меня не покидает горькое чувство: ты почему-то всё время какой-то неспокойный, волнуешься, не веришь, всё время в чём-то или в ком-то сомневаешься. Уверяю тебя, что нет тому причин, нет. Я, конечно, понимаю, что нам здесь гораздо легче, чем тебе там: мы все вместе с родными и друзьями, а ты практически один, да ещё так далеко. Но, пожалуйста, поверь мне, что у нас всё нормально, всё хорошо, всё идёт своим ходом. Все мы только и делаем, что отсчитываем очередной день, неделю, месяц, которые приближают твой приезд. Вот ещё один день прошёл. Немножко грустное настроение. Завтра опять холодно, а зимние сапоги я себе так и не купила. Хожу в старых. Наплевать. Осталось немного. Ведь должны же когда-нибудь кончиться эти морозы. Скорей бы весна, лето! Так надоели морозы, холод, надеваешь на себя сто одёжек, транспорт этот ужасный. Я очень устаю от дороги, стараюсь в выходные никуда не ездить, отдохнуть от людей, автобусов, метро.

На меня иногда такая тоска нападает, что свет мне не мил. И в последнее время это стало случаться чаще. Настраиваю себя, уговариваю, стараюсь отвлечься — всё равно. Иногда невыносимо тяжко. Кажется, будто время остановилось...

...У нас погода совершенно ненормальная. То морозы — 20—25, то оттепель +3—5, снег, дождь. Не помню я такой зимы. Одно только постоянно — солнышко всё время светит. Как в Африке.

...Ужасно хочется съездить за город, покататься на лыжах, как в прошлом году, в марте, когда светило весеннее солнышко, снег прилипал к лыжам, его приходилось сбивать... Скоро опять весна, осталось два месяца. Время летит очень быстро, правда?..»

II

Мартовским снежным днём судьба налетела на нас, как вихрь, сшибла нас и перевернула, перемешала наши жизни...

Мы оказались с Иришенькой одновременно в одном подмосковном доме отдыха, и случай усадил нас за один столик в столовой, где трижды в день собирались отдыхающие. Все дома отдыха похожи друг на друга и будто специально созданы для ненавязчивых, недолгих знакомств. Морозный воздух веселил кровь, лёгкий, ни к чему не обязывающий разговор с милой соседкой оживлял мозг и волновал сердце, и я уже предвкушал приятное десятидневное развлечение. Жена моя оставалась в Москве и была тоже рада отдохнуть от моего присутствия, потому что за десять лет нашей совместной жизни мы настолько истерзали себя обидами, непониманием, недоверием и равнодушием, что давно не любили и не жили, а только терпели друг друга.

Таких, как я, тысячи. Тысячи мужчин едут зимой на отдых, катаются на лыжах, занимаются спортом, сидят вечером в баре или танцуют, встречают тысячи таких же, как они, одиноких женщин, а потом возвращаются домой, и лишь иногда вечерком, сидя в глубоком кресле перед телевизором, они вспоминают ту ушедшую зиму, и коротко шевельнутся и погаснут в памяти неповторимая в мире улыбка влюблённой женщины и сияющие глаза под мягкой заснеженной шапочкой.

Всё начиналось обычно и просто, и ни я, ни Иришенька ещё не догадывались, что где-то на дне вселенной сошлись на орбите две наши маленькие путеводные звезды и, ярко вспыхнув, повели нас по новому кругу жизни. Кто объяснит, кто узнает, где тот таинственный миг, когда зарождается в человеке уголёк любви и невидимая нить протягивается от сердца к сердцу? Где та граница, за которой вдруг кончается наша скучная, унылая, монотонная жизнь и начинается другая: полная надежд и мучений, ожиданий и встреч, улыбок и слёз, лёгкости чувств и мыслей, сладости и страдания любви?

Ярко светило солнце, и сияло голубизной небо, а в лесу под елями ещё хоронился в тени глубокий снег. Какая это сказка — подмосковный зимний лес! Морозный воздух осязаем, как натянутая струна. Солнце брызжет в лицо ветром и снежной пылью, лыжи скользят по проторенной лыжне, и только на ослепительных от солнца снежных полянах приходится останавливаться и сбивать с лыж налипший, набухший снег.

Мы бежали по лесу вдвоём, часто поворачивали и уходили куда-то в сторону, чтобы не видеть людей, — нам никого не хотелось видеть, — останавливались, вдыхали полной грудью пьянящий морозный воздух и улыбались друг другу. Мне кажется, именно тогда перескочила от сердца к сердцу и обожгла нас первая искра близости и любви. Мы стояли рядом, оба будто наэлектризованные солнечным светом, чистым воздухом, предчувствием весны. Я счищал снег с её лыж, я гладил рукой холодную деревяшку у её ног так, словно я гладил и ласкал родную, любимую женщину, и тогда я почувствовал вдруг, что дороже и ближе этой маленькой, хрупкой, стоящей рядом со мной, улыбающейся мне женщины нет и никого не было у меня, и жгучая нежность к ней, нежность, какой никогда, ни к кому я в жизни не испытывал, перехватила горло.

«Здравствуй, мой дорогой, любимый!

Целую неделю я отдыхала в Софрино. Там красота неописуемая: мягкая, безветренная погода, белый-белый снег, деревья в инее. Каждый день я ходила на лыжах, несмотря на то, что лыжня была сырая и лыжи совершенно не шли. Но, Боже мой, сколько же воспоминаний навевали эти прогулки, те же самые тропинки, полянка, где мы купались в снегу. Сначала я даже затосковала и очень сильно загрустила, даже где-то в душе пожалела, что приехала сюда, но потом я как-то так себя настроила, что все эти памятные места не грусть наводили, а наоборот, радость и счастье, и главное, надежду на то, что всё будет хорошо. Как будто бы я увиделась снова со своими старыми друзьями, и хотя погода была в основном пасмурной, я всё равно ощущала тепло, тем более что моё солнышко светило мне ярко и горячо...»

III

Последние годы я жила и билась, как птица в клетке. Сгорбившись душой, я несла по жизни свой крест, и не было сил расправить крылья и вылететь из клетки на волю. Куда лететь? Зачем? Когда-то давно, в один из дней душевного подъёма, я решилась развестись с мужем. Но решимость пропала, желания перегорели. От судьбы своей не уйдёшь. Да и куда было бежать, к кому? Такую малость хотелось в жизни: любви, и счастья, и своего милого, уютного дома. Ничего не сбылось, ничего не осуществилось. Рядом был чужой человек, ради которого я мучилась и билась в жизни: за него, за себя, за наш общий дом. А он не хотел или не мог этого понять, и на место любви пришли усталость и равнодушие. Почему нам всю жизнь приходится бороться за то малое, что с рождения должно принадлежать человеку? Биться за то, чтобы жить в нормальных человеческих условиях, биться за то, чтобы делать дело, которое нравится, за то, чтобы одеться и прокормить себя и семью? Я устала бороться, я устала так жить. Я поняла, что надо просто жить, просто плыть по течению и плестись изо дня в день по давно проложенной чужой колее, что ничего больше не будет: ни любви, ни счастья, ни родного дома, — и ждать больше нечего.

Так и жила я, постыло и равнодушно, до того мартовского снежного дня, когда судьба налетела на нас, как вихрь, и перемешала, перепутала наши пути.

«Только что получила твоё огромное чудесное письмо. Я, к сожалению, не могу так хорошо писать. Мне не хватает слов, чтобы все мои чувства, переживания, эмоции выразить только словами, только на бумаге. А твоими письмами можно зачитываться; мне даже хочется, чтобы кто-нибудь из моих знакомых почитал их, просто гордость испытываю — никогда, никто не писал мне столько красивых, нежных, душевных, любовных и сердечных писем, как ты. Я сохраню их на всю жизнь и в самые хорошие (или тяжёлые) моменты буду их перечитывать. Ведь если бы ты не уехал, я бы никогда не испытала такого счастья: получать и читать твои письма,

переполненные любовью ко мне, тревогой и надеждой, страданием и радостью. Я очень благодарна тебе, любимый мой, за те слова, чувства, за твою любовь, которые я чувствую и ощущаю на расстоянии, и ты тоже будь уверен во мне.

У нас всё нормально. Я очень устаю на работе, от транспорта. За выходные отдохнуть не успеваю. В театре не была, одной не хочется, жду тебя. Вообще, мне без тебя ходить в театры, в кино не нравится. Я себя чувствую какой-то неполноценной. Приезжай скорей, мой любимый, и мы пойдём с тобой, куда только пожелаем».

На третий день нашего знакомства мы поехали вместе в Загорск. Я люблю церкви, хоть и мало осталось на нашей земле храмов, где ещё сохранился огонёк веры и сострадания, что ещё несут людям тепло надежды и успокоения. Я молюсь иногда за всё хорошее и верую тайно.

Кругом монастыря лежал чистый снег, и купола светились золотом и солнцем. В тёмном Троицком соборе возвышенно и скорбно пел церковный хор, строгие лики святых смотрели на нас с рублёвских икон, и тусклый свет негасимых лампад согревал душу покоем. Я плакала и молилась, я молилась за него и за себя, я ещё не знала, люблю ли я его, но так хотелось, чтобы это была действительно любовь, и я молилась за нас и за нашу любовь. Высокое пение возносилось к куполу, и вместе со слезами вытекали из сердца горечь и тоска. Он стоял в глубине церкви и смотрел на меня серьёзно и внимательно. Кончиками волос, затылком, спиной я чувствовала его взгляд, и ещё сильнее хотелось молиться и верить. А потом в Патриарших сказочных палатах ударила гонгом в сердце та минута, которой я ждала и боялась, до сих пор не понимая, как это бывает, что вдруг становится ясно: да, это любовь, я люблю, люблю. Ни я, ни он, мне кажется, до самой той минуты не думали и не знали, как это произойдёт. Это было как вспышка, как веление свыше. Он набрал в ладонь святой воды и у икон всех святых провёл пальцами робко и нежно по щекам моим и по лбу. Мы стояли молча, глаза в глаза, и я подумала, что в этот миг, в храме перед иконами, сам Господь Бог благословил нас и нашу любовь.

«...Когда долго нет от тебя известий, мне кажется, что ты ужасно далеко, в неизвестности. А это очень тяжело. Особенно когда это касается самого любимого человека на свете. Береги себя».

Вечером того дня мы танцевали в баре. Мне так хотелось быть самой красивой — для него, самой нежной — для него, самой весёлой — для него, самой обаятельной, самой умной — для него. Сердце стучало в груди и не принадлежало уже мне. Я знала, что я вся, до последней клеточки, безраздельно его, я любила его. Поздно вечером он пришёл ко мне и остался со мной, и мы стали тайными мужем и женой.

«...Иногда, вечерами, я надеваю твоё любимое платье и сижу одна или с кем-нибудь из своих соседушек-подружек, болтаем о том о сём. Скорей бы лето! Мне один человек говорил, что я очень красивая, когда на меня падают солнечные лучи. А мне ужасно хочется быть красивой — особенно для него. Время летит быстро. И годы наши тоже летят, к сожалению, очень быстро. И остаётся жить только надеждой и ожиданием. Но если у человека отнять надежду на лучшее, тогда жизнь становится бессмысленной, пустой, неинтересной. А я всё-таки счастливая, потому что у меня есть такая надежда, у меня есть близкие, родные люди, которых люблю я и которые любят меня, и поэтому мне не страшно плыть в своей ладье по жизни, пусть ладье ещё не полной, но в ней есть достаточно места для тех, кого там пока не хватает...»

IV

Зашумела, закрутила водоворотом будней Москва. Мы встречались с Иришенькой ежедневно. От тех дней осталось лишь размытое воспоминание потрясающей, ежесекундной эйфории любви. Мы не могли друг без друга. Мы то и дело звонили друг другу на работу, я встречал её каждый вечер, дарил цветы, мы куда-то ездили, где-то бродили по улицам, говорили о чём-то важном и дорогом для нас, ходили в театр,

на выставки, сидели в кафе, наслаждаясь нечаянным прикосновением рук и ног, глазами погружаясь в глаза. Мы бывали у моих друзей, она познакомила меня со своими подругами. Друзья говорили, что мы хорошая пара. Наверно, мы изменились и внешне, любовь возвышает душу, облагораживает и красит человека: на нас оборачивались на улице, незнакомые люди останавливались и говорили нам: «Берегите себя». Иногда я оставался у неё дома. Мы зажигали свечи и пили вкусное вино. Она надевала моё любимое платье, садилась за пианино, играла и немного пела. А я любовался её лицом, её пальцами, её фигурой, и в те чудесные мгновенья нам обоим казалось, что мы нашли ту тихую пристань, к которой плыли всю жизнь. В Москве бульварами цвела весна, и той единственной, незабываемой весной, исстрадавшись от жажды истинной любви, мы припали к её роднику и пили взахлёб, наслаждаясь жизнью и друг другом. Мы, как влюблённые нищие, украдкой срывали с древа желаний часы близости и были счастливы. Мир перестал существовать, мы остались одни на земле.

До сих пор, кружа в суете дел по Москве, я вдруг останавливаюсь невольно, и, как из далёкого сна, проявляются в памяти её сапфировые глаза, и сердце ноет: «Мы здесь бывали с Иришенькой».

Однажды вечером, когда я провожал её домой, она сказала мне:

— Я всё рассказала мужу. Я сказала, что люблю другого человека. Я не могу с ним жить и не хочу обманывать. Я не могу и не хочу быть ни с кем, только с тобой.

И я сказал ей:

— Я ужасно люблю тебя, Иришенька, и больше всего на свете хочу, чтобы ты стала моей женой.

Господи! Сколько искренних клятв и обещаний дают люди. Если бы хоть сотая их часть исполнялась когда-нибудь, может быть, меньше было бы на земле страданий и одиночества.

«...Романтик ты мой любимый, твои письма для меня как бальзам, живу только ими и мыслями о встрече. Постоянно думаю о тебе, разговариваю с тобой. Приезжай скорей,

я очень жду тебя. И я в тебя очень-очень верю. И ты мне верь, пожалуйста.

...Нам тебя очень здорово не хватает. Особенно мне. Как будто половину отрезали. Иногда бывает очень тяжело. Сейчас уже поздно, двенадцать часов. Я на кухне, часы тикают, и мне кажется, что рядом сидишь ты, я так отчётливо вижу тебя и плачу...»

Она разводилась с мужем долго, мучительно, трудно.

А мне предложили на работе новое, почётное назначение: выезд в длительную, на несколько лет, командировку за границу.

V

— Не могу я отказаться, пойми, пожалуйста. Я ждал этой командировки много лет. Моё продвижение по службе, моя карьера зависят от этой поездки. Два-три года — и я вернусь, вернусь к тебе. И, кроме того, деньги. Ты посуди сама, Иришенька: нам начинать с тобой новую жизнь, нужно покупать квартиру, нужны будут деньги. За два-три года там я заработаю достаточно. Милая моя, бывает же так: муж уезжает в командировку один, жена ждёт его. Ты ведь будешь меня ждать?

Я говорил, говорил, говорил... Она не плакала и не возражала, но мне было больно и стыдно глядеть ей в глаза, в которых застыла мука раненного насмерть животного. Я гладил ей волосы, и целовал её губы, и обнимал её, и уговаривал её, как маленькую девочку.

— Она тоже поедет с тобой?

— Меня не пустят без неё за границу, иначе нельзя. Но это ничего не значит. Иришенька, радость моя, счастье моё, я ведь только тебя люблю, ужасно тебя люблю.

Лгал ли я ей или себе в ту минуту? Нет, наверно. Я действительно очень любил её. Я никогда не обманывал её ни единым словом. Я готов был отдать за неё жизнь. Я хотел, чтобы она стала моей женой, и верил, что мы будем вместе.

Я любил её нежно и бережно, боясь обидеть неосторожным словом. И знал, что она тоже любит меня. Мы часто говорили с ней, какое это редкое счастье, дарованное немногим, — взаимная любовь. Мы оба давно вышли из юношеской поры, когда любовь так же быстро гаснет, как и разгорается в сердце. Мы любили и сердцем, и умом, мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, наши мысли, чувства, образование, даже опыт прожитой жизни были похожи, мы хотели счастья и понимали, как трудно оно даётся и как легко его потерять, и склонялись над этим разгоравшимся огоньком, пытаясь защитить его от ветров жизни, и верили в него, и верили друг в друга. Я не лгал ей. Но все мои тридцать пять лет привитого с детства в мозг подчинения навязанным нам и впитавшимся в нашу кровь общественным нормам и правилам вставали на дыбы и не отпускали меня. У меня не укладывалось в голове, что я могу поступить по-другому, что именно сейчас я могу и должен развестись и жениться на суженой своей, потому что меня не то чтобы не поняли, а просто отторгли бы, как сломавшуюся деталь, из слаженного чиновничьего аппарата, в котором я работал. Я будто не принадлежал себе. Словно существовали разные сферы, которые никогда не могли соприкоснуться: моя любовь к Ирише и какая-то условная мораль, нарушив которую, я не мог ни получить повышения по службе, ни работать за границей. Тогда я даже не задумывался о том, что само понятие морали перевёрнуто в нашем обществе с ног на голову, что аморально жить с нелюбимым человеком, а не развестись с ним, что правильно и нормально жениться на женщине, которую любишь, не боясь, что тебя осудят, изгонят, запрут в клетку недоверия и лишат того, чего ты достиг трудом. Неосознанный страх оступиться в глазах начальства и общества толкал меня по проложенному десятилетиями пути, на котором нельзя даже помыслить остановиться, задуматься и сказать нет. Рабская податливая сущность, воспитывавшаяся годами и вошедшая в плоть, умела лишь оправдываться, просить и соглашаться. Большинство из нас с детства и на всю жизнь заражены этой болезнью: мы движемся по заданному маршруту в соответствии

с установленным расписанием, поворачиваем на стрелки и указатели и боимся ступить лишний шаг и сказать лишнее слово, — а вдруг не положено. Десятилетиями строили нас в колонны и внушали: делай как все, — и в своём бесконечном трубном марше мы привыкли слушать команды и разучились думать и принимать решения. Я искренне не понимал тогда, что может быть по-другому, что неладно, не так мы живём, если из страха перед инструкциями мы добровольно отказываемся от своего счастья и сравниваем вещи несравнимые, ставя на одну чашу весов любовь и будущую жизнь, а на другую — благоволение начальства и поездку за границу. Бедные люди, выцарапывающие зубами и когтями возможность работать за границей, вычёркивающие годы из своей жизни ради того, чтобы накопить денег на весь оставшийся свой век, забывающие нормальное человеческое общение и достоинство, говорящие на искусственном, суррогатном языке из нескольких слов: цены, вещи, купля, продажа. Они не виноваты в этом. Бедное, больное общество доводит их до состояния червей.

И я, как все, представлял себе диким отказаться от дарованной мне возможности. И говорил, говорил, говорил... И уговаривал себя и её, что всё правильно и по-другому поступить невозможно. И только спрашивал, постоянно её спрашивал:

— Ты будешь ждать меня, Иришенька?

— Буду ждать. Я очень постараюсь тебя дождаться, — отвечала она.

А жизнь в это время уже готовила нам новые перекаты. Словно Бог до самого конца испытывал нас.

Меня вызвал секретарь партийной организации и показал мне бумаги, в которых говорилось, что я живу с женщиной и разрушил её семью.

Сколько лет, сколько поколений нужно давить человека, чтобы он боялся признаться в своей любви? Сколько людей и труда надо положить на то, чтобы воспитать в человеке постоянный страх говорить правду, научить его изворачиваться и лгать всем и самому себе, подличать и переступать через своё человеческое достоинство? Я был похож на бычка, которого ведут на заклание; у меня будто верёвкой перехватили

шею и тянули на поводу, то отпуская её, то стягивая горло: я мычал и отнекивался и в конце концов сказал, что мы с ней старые друзья, что нет никакой любви и быть её не может. Вызывали и её, и она повторяла мои слова. Вызывали, выпытывали, выспрашивали и раздевали донага наши души. Тогда я не задавался вопросом, какое они имели право врываться в нашу жизнь и копаться в наших сердцах. Мне казалось естественным, что с нами затеяли какую-то подленькую игру, где всё всем известно, но не говорится, игру, в которой они спасали меня от самого себя, а я предавал и себя, и нас. Я должен был выбирать, и я выбрал то, что было предложено правилами игры. А в награду мне кинули разрешение выехать на работу за границу. И, как верный пёс, я схватил эту кость и благодарно завилял хвостом.

VI

Пришло и пролетело, прошумело грозами и угасло в осенних пасмурных днях короткое жаркое лето. Оставался месяц до моего отъезда. Мы с Иришенькой поехали на несколько дней в Ленинград.

Я мечтал подарить ей весь мир. Я подарил ей мой любимый город. Я подарил ей гранитные набережные Невы и чугунные узоры мостов, я подарил ей сокровища Эрмитажа, и замерший над Невой памятник Петру, и неистовых Клодтовых коней на Аничковом мосту, я распахнул для неё двери Казанского собора и Исаакия, я отворил перед ней дворцы и музеи, я расстелил у её ног золотой ковёр Летнего сада, я увлёк её в пересеченье улиц этого сказочного города и постелил его площади под её каблучки, я провёл её по шумному Невскому проспекту и заманил в тишину уснувших парков. Я был счастлив, что она открыла для себя целый город и полюбила его вместе со мной. Друзья помогли нам снять маленький номер в гостинице на Невском, и впервые у нас появились ключи от нашего общего дома. Мы страшно гордились этим. Все наши тревоги и переживания остались в Москве. Мы забыли обо всём на свете, и мой отъезд казался нам далёким и нереальным.

Я никогда раньше не знал, какое это счастье — засыпать рядом с любимой женщиной и просыпаться вместе. Нам не надо было торопиться и расставаться, нам не надо было ждать вечера, чтобы увидеться вновь. На несколько дней мы освободились, выпали из круга бестолковой суеты и оказались вдвоём вне времени и пространства.

В парке Екатерининского дворца духовой оркестр играл Штрауса. Она сидела у меня на коленях, я крепко прижимал её к груди и боялся отпустить даже на секунду, будто хотел спаять наши сердца. Вдоль царицыных прудов мы гуляли по липовым аллеям, а потом бежали на другую сторону дворца, чтобы увидеть, как заходящее солнце пронзает золотые ворота и, отражаясь в окнах, растекается по бирюзе дворцовых стен. Там, где золотые фонтаны Петергофа вливаются в Финский залив, мы бродили по парку, взявшись за руки. В кронах старых деревьев и в наших душах пели осенние скрипки, и опавшие листья кружились у наших ног и разлетались, как наши судьбы, гонимые ветром.

Это были самые счастливые дни в нашей жизни. Я часто думаю: для чего мы живём, для чего живу я? Хоть единожды в жизни каждый из нас, рождающихся и умирающих на этой земле, уходящих из жизни без следа, задаётся этим вопросом. И каждый человек, каждое поколение, каждое общество придумывает на него свой ответ, но конечной истины не существует. Мне казалось в те короткие дни, что истина открылась мне. Мне казалось тогда, что ради этой красоты вокруг нас, ради этих деревьев, ради этого воздуха и солнца в глазах любимой стоит жить, ради этого мы живём. Так мне казалось, потому что в те последние наши дни я дышал, я любил и я жил так полно и самозабвенно, как никогда ни раньше, ни потом.

«...Нам тебя очень не хватает. Тоскливо, грустно. Я всё время вспоминаю Ленинград, почему-то с этим городом у меня связаны самые светлые воспоминания. Каждый вечер, когда в программе «Время» говорят погоду, я с трепетом слушаю, какая погода будет в Ленинграде. Я всё время вспоминаю потрясающие парки, особенно мне запомнился Павловский парк, не знаю почему, но тот вид, который открывается

сверху, так и стоит у меня в глазах. Может быть, ещё и потому, что это был последний день в Ленинграде и хотелось впитать в себя как можно больше впечатлений, этой изумительной красоты, совершенства. Как здорово, что мы съездили в Ленинград, наш любимый город и нашу колыбель. Это ведь останется с нами на всю жизнь».

VII

Завтра последний день. Завтра он уезжает. Господи! Всемогущий Боже, только ты один знаешь, как я измучилась, как извелась я. Сколько лет жизни я отдала, чтобы говорить, молчать и улыбаться, когда сердце кричит и рвётся от боли и слёз. За какие грехи, Господи, ты посылаешь мне муку разлуки и одиночества? Почему всё так тяжко даётся мне в жизни? Почему за свою любовь обязательно надо платить страданием? Почему так несправедливо устроен мир? Почему он — любящий и любимый — уезжает с другой, а я — жена его перед Богом — остаюсь одна? Почему всё так перевёрнуто в нашей жизни? Почему одни тупики кругом вместо дорог? Ответь, научи, Господи!

Прости меня, Господи! Я буду молиться за него. Я буду молиться, чтобы ничего не случилось с ним там. Я буду ждать его. Только хватило бы сил. Пошли мне сил и терпения, Господи.

Я могла бы удержать его, я знаю. Но он никогда бы не простил мне этого. Я могла бы заставить его развестись и оставить с собой, но я не хочу и ради нашей любви стать препятствием на его пути. Я не хочу, чтобы даже тень обиды или непонимания промелькнула когда-нибудь между нами. Я не хочу, чтобы однажды он мог упрекнуть меня, сказать или подумать: «Это ты виновата». Лучше засохнуть, как вырванный из земли цветок, чем это.

Завтра последний день. Я не представляю, как я смогу жить без его рук, без его глаз, без его слов, калекой, у которой отрезали половину сердца. Половинушка моя, зачем же ты уходишь, родной?

Завтра он уезжает. Завтра сомкнётся круг, в котором я останусь одна, и всё станет неопределённо и зыбко: его любовь и моё положение оставленной жены или брошенной любовницы. Кто я ему, нужна ли я ему, кто я без него? Вот чего я страшусь более всего: неуверенности и сомнений, — и никого, пустыня вокруг, и только пустота, тоска, одиночество. Помоги, Господи!

Всё искажено и изломано, как в кривом зеркале, всё не так, как хотелось бы. Будто специально, будто искусственно придумывают для нас трудности, которые мы преодолеваем всю жизнь, ставят барьеры, которые мы должны перескакивать, и гонят нас, гонят неизвестно куда. Что гонит его, почему он должен уехать? И почему, если уж он уезжает, я не могу ехать с ним? Кто придумал, кто навязал нам эти дурацкие, нечеловеческие законы? Кто виноват в том, что рвутся сердца, и судьбы, и любовь?

Прости меня, Господи! Я люблю его. Сохрани, Господи, нашу любовь.

Я всю жизнь ждала его. Я металась по жизни, я искала его и грешила, потому что его не было со мной. Я искала опору и поддержку, но его не было со мной. Я была одинока душой, и свыклась с этим, и научилась оставаться одна, потому что его не было со мной. Пусть поздно он пришёл ко мне, но я дождалась его. Я только успела привыкнуть к нему, я только начала чувствовать и думать как он, я только стала понимать его и лучше узнавать себя. Мы уже дышали единым дыханием и мечтали вместе, мы хотели иметь детей. Мы любили и только начинали жить. Только-только... Что вы с ним сделали? Каким зельем одурманили его? За что, зачем вы отняли его у меня? В чём виноваты мы? В чём виновата наша любовь? За что нас так? Зачем?

Я люблю его. Я буду ждать его. Спаси и сохрани нас, Господи! Сохрани, Господи, нашу любовь.

VIII

«Любимый мой!

Я знаю: если у нас родится ребёнок, ты его в зубах будешь носить. Я знаю: ты его всему научишь и всё расскажешь так, как только ты один умеешь рассказывать. Он вырастет таким же умным и добрым, как ты. Он будет похож на нас, он будет лучше нас. И я очень хочу, чтобы он был счастливым, чтобы он встретил в жизни свою любовь, такую же сильную, как наша».

«Милый мой, дорогой, любимый!

Вот я и вошла в своё привычное состояние: ты уехал, я осталась одна, опять жду тебя и твои письма и снова пишу тебе. Я по тебе скучаю, всё время о тебе думаю. Погода стоит холодная, почти каждый день дожди, сырость. Вот и сейчас за окном стучат капли дождя, я сижу на кухне и пишу тебе. И мне кажется, что на улице зима, настолько сильно мне врезались в память эти зимние долгие вечера, когда я вот так же сидела на кухне и писала тебе, а в душе у меня творилось что-то страшное. Сейчас совсем иначе, я спокойнее, увереннее, но всё равно как-то не так себя чувствую, даже не могу объяснить. Опять эта неопределённость, непонятность и, в некотором отношении, безысходность. Мне не хватает твоего оптимизма, энергии, у меня на душе постоянно какая-то тяжесть, жизнь я перестала воспринимать с радостью, какая-то пассивность, депрессия, из которой я, как мне кажется, уже никогда не выйду.

Человек ко всему привыкает, даже к разлуке, и это начинает казаться естественным состоянием. Я уже привыкла к тому, что всё время тебя жду, жду, жду — и это бесконечно. И так, наверно, будет всегда, во всяком случае очень долго. И я с этим смирилась, я стала какой-то другой, жизнь всё меньше и меньше меня радует, и ничего хорошего я от неё не жду. Твоё письмо такое хорошее, оптимистичное, такое, как ты сам. Но мне всё равно очень грустно. Грустно и печально. И я даже не знаю, в чём основная причина. Не знаю. Всё как-то не так, как хотелось бы. Всё

как-то перевёрнуто с ног на голову, какой-то сплошной идиотизм. То, что, казалось бы, должно быть естественным и единственно правильным, недосягаемо или очень-очень далеко. Ты прости меня за моё такое мрачное настроение, но мне ужасно тяжело. И даже не потому, что ты уехал, а потому, что я перестала радоваться жизни, что-то во мне перевернулось. И не говори, что это усталость. Нет, это всё гораздо серьёзнее. Только, ради Бога, не подумай, что я тебя разлюбила. Нет, я тебя люблю, и никого другого мне не надо в жизни. Но есть некоторые барьеры, через которые ни я, ни ты не можем переступить, и, видимо, они всегда будут между нами, и жизнь наша будет омрачаться бесконечными проблемами, решать которые я уже не в состоянии. У меня больше нет сил, ни душевных, ни физических. Я и так слишком много отдала, чтобы быть с тобой. Больше я не в состоянии ещё чем-либо жертвовать, не могу, понимаешь, не могу. И не осуждай меня, потому что совесть моя чиста перед тобой».

«...Как сильно я соскучилась по тебе, любовь моя! Как мне тебя не хватает, как тоскливо и одиноко бывает порой, что просто слёзы подступают. Я не гоню время, но мне кажется, что уже давно-давно я без тебя и ещё долго-долго мне без тебя быть. Родной ты мой, никого мне не надо, только тебя я люблю, очень сильно, и письма твои перечитываю по сто раз, но мне надоело общаться с тобой письмами, я хочу тебя видеть, говорить с тобой, целовать тебя, чувствовать тебя рядом. Я знаю, что ты на это скажешь: «Подожди, Иришенька, ещё немного». Конечно же, я подожду, судьба у меня, видно, такая: всё ждать и ждать и бороться за своё счастье. А сил всё меньше, но ты не думай, что я отступлю. Ты приедешь, и всё встанет на свои места. Вместе будет легче. Ты мне очень нужен. Почти каждую ночь ты мне снишься, сегодня приснилось, как будто мы в «Берёзовой роще», лето... Я живу прошлым и будущим, а мне хочется жить ещё и настоящим. Без тебя я живу наполовину. Тяжело. Знаю, что и тебе без меня плохо. И поэтому хочу, чтобы поскорее ты приехал домой. И жду тебя очень-очень!

Я что-то очень стала уставать. Может быть, погода меняется, или это усталость накапливается, но часто стала кружиться голова, сплю со снотворным, нервы — никуда. Приезжай скорее, и я буду совсем другой...»

«Родной мой, любимый, единственный!

Я снова в Софрино. Рука не успевает за моими мыслями, любовь моя, счастье моё. Как сильно я люблю тебя, мне надо как-то это сказать, пусть пока я не смогу отправить тебе этого письма, потом ты всё прочитаешь, когда приедешь. Я жду не дождусь этого момента. Если бы ты только знал, как я по тебе скучаю, тоскую, плачу каждый день, ты бы всё бросил и примчался бы ко мне, милый мой, единственный. Я знала, что будет плохо без тебя, но не думала, что это будет так плохо. Просто невыносимо. Но я буду ждать, столько, сколько надо. Я готова ждать тебя всю жизнь, потому что без тебя и без надежды, что я буду с тобой, я умру.

Нас поселили в старом корпусе. Я готова целовать дверь номера, в котором ты жил, целовать здесь каждую веточку и тропинку. Я не знаю, хорошо это или плохо, что я всё-таки сюда приехала, но ты везде со мной, где бы я ни была, я всё время ощущаю тебя рядом, говорю с тобой, целую тебя и очень-очень переживаю за тебя. Я так хочу, чтобы у тебя, у нас всё было хорошо, чтобы мы были вместе на всю жизнь. Я люблю тебя. И сейчас чувствую, что без тебя я просто не могу, что живу я воспоминаниями и надеждой на будущее, а без тебя я просто существую. Любимый мой, нежный, самый удивительный! Никого я даже замечать не хочу, никого даже рядом с тобой не могу поставить. Я такая счастливая женщина. Даже тех минут, что мы были вместе, достаточно, чтобы быть всю жизнь счастливой. Но мне этого мало. Я должна быть с тобой всегда, любить тебя всегда, заботиться о тебе всегда, родной мой. Приезжай...»

«...Настроение у меня прыгает, как стрелка барометра. То я такая счастливая, весёлая, то, наоборот, грустная, тоскливая, мрачная. А всё из-за моего дурацкого неопределённого положения. И нет этому конца. Сколько же ещё ждать,

один Бог знает. Как ужасно иногда складываются обстоятельства, как сильно приходится страдать. Но, наверное, действительно счастье познаётся через страдания. Только когда оно будет, это счастье? Пиши мне почаще. Только твои письма помогут мне. Береги себя, очень прошу.

...Я всё время молю Бога о твоём здоровье и о твоей работе. Каждый день и каждую ночь я прошу об одном и том же: чтобы все мы и родные наши были здоровы и чтобы не случалось с нами несчастий. А всё остальное придёт. Нужно только немного подождать и потерпеть, правда?..»

...Она не дождалась его. В один из мартовских снежных дней, когда ярко светило солнце и голубизной сияло небо, она наложила на себя руки.

IX

Павел Петрович сидел на кухне в московской пустой, чужой квартире и писал письмо. За несколько месяцев после его возвращения что-то сместилось в его сознании, и порой он не различал прошлое и настоящее, память вырывала куски из ушедших дней и превращала их в день сегодняшний. В его уставшем от бессонницы и непонимания мозгу перемешались события и люди, и живые казались ему призраками, а умершие жили рядом с ним.

«Любимая, единственная моя Иришенька!

Странное, двойственное чувство не покидает меня. Наконец-то я дома, а дома нет у меня. Наконец-то я вернулся к тебе, моя жёнушка, а тебя нет рядом со мной. Будто я ошибся во времени, и чужие люди окружают меня, а тебя нет со мной; будто я что-то перепутал и ищу тебя не там, а ты меня ждёшь где-то; будто я забыл заветное слово: я зову тебя, а ты не откликаешься. Я хожу по нашему с тобой городу, и ты идёшь рядом, но я протягиваю руку, чтобы обнять твои плечи и прижать к себе, но не нахожу тебя. Я вижу всюду твою улыбку и бегу к тебе, но она растворяется в воздухе.

Я слышу ежесекундно твой голос, но ты где-то далеко, так далеко, что не видишь и не слышишь меня. Я силюсь понять и не могу: я вернулся к тебе, моя любовь, а ты прячешься от меня в этом большом, тёмном городе и не узнаёшь меня. И в то же время ты где-то постоянно рядом, потому что я узнаю твои шаги в соседней комнате, я замечаю твоё лицо в толпе прохожих, ты зовёшь меня ласково и нежно, а потом исчезаешь вновь. Я знаю, что ты здесь, но почему же ты не хочешь видеть меня, моя половинушка? Эти годы я жил и дышал наполовину, и никто не догадывался, что у меня лишь половина сердца, а вторую я оставил тебе, но я вернулся, а ты не приходишь ко мне, и некому заполнить пустоту в груди. Что-то нехорошее происходит со мной, какая-то главная струна оборвалась в моей душе, и только ты могла бы объяснить, что со мной. Я перестал любить жизнь. Я будто потерял ключ к этой жизни и теперь никогда не смогу войти в неё, а ты не хочешь мне помочь и прячешь этот ключ у себя. Я не могу жить без тебя, цветочек мой аленький, я гляжу на людей и не вижу их, я никого не хочу видеть, кроме тебя. Я смотрю на мир незрячими глазами, краски пожухли в нём, и он стал чёрно-белым. Я закрываю глаза, и только тогда ты возвращаешься ко мне и целуешь меня, как прежде, и я боюсь открывать их, боюсь снова потерять тебя. Я закрываю глаза, и в моей голове начинает звучать и петь райская мелодия, под которую мы танцевали с тобой, и я прижимаю тебя к своей груди так крепко, будто навеки хочу спаять наши сердца, и маленький мой обрубок бьётся сильнее, и я понимаю, что ещё живу.

Я ищу и не могу найти тебя, моё счастье. Без тебя я перестал понимать себя и свою жизнь. Вместе с тобой что-то главное во мне самом ушло безвозвратно, без тебя что-то потеряно навеки: зрение, слух, смысл. Для чего я живу? Мы приходим в этот мир с надеждой одарить себя и человечество самим своим появлением на свет. Но человечество не нуждается в нас и даже не знает о нашем существовании. Да и что мы можем дать человечеству, когда мы себя не умеем сделать счастливыми. Мы дороги двум-трём людям

на свете, но и они уходят из жизни, и когда придёт наш черёд умирать, никто на земле не вспомнит о нас и не помянет добрым словом. Мы прокатываемся, как волны, по жизни один за другим и разбиваемся о последний берег, не задерживаясь в памяти людской. Выходит, нет у человека, этого божьего творения или чуда природы, иного, высшего предназначения, чем есть, спать, двигаться и удовлетворять свои биологические потребности до тех пор, пока не кончится завод в его организме? Лишь для этого я живу? Я не хочу, не могу так жить. Мне кажется, что всё-таки есть, должен быть какой-то иной, может быть, христианский смысл в нашем существовании. Но на добро люди отвечают злом, да и чем я могу быть полезен людям и чему могу их научить, если сам давно кручусь вхолостую, как ненужная шестерёнка, выпавшая из механизма...

Я всегда считал себя добрым человеком и не хотел никому зла, но приносил только боль и страдание близким моим. Почему так? Или недостаточно быть только добрым человеком? Для чего же рождается и умирает человек на этой земле? Для себя, для семьи, для любви? С тобой, Иришенька, я потерял и любовь, и семью, и себя. Оказалось, что главным и единственно верным в моей жизни была ты, а остальное было ненужным и неважным. Жизнь — это калейдоскоп дел, событий, лиц, встреч и утрат, мыслей и чувств, из которого память сама выбирает и прячет самое ценное: плохое или хорошее, но самое важное в человеческой жизни. Моя память сохранила лишь недолгие наши счастливые дни и нашу любовь, твоё лицо и твою улыбку, тебя — любящую и любимую, — и твои письма. Кроме этого не осталось ничего, стёрлось — никчёмное и пустое — без следа.

С тех пор, как я уехал, Иришенька, я всё время топчусь на месте в каком-то тупике. Передо мной глухая стена, а обратно вернуться невозможно. Горько сознавать, пройдя жизнь до половины, что прожил её не так, что, ничего не совершив, ничего не открыв, оказался один в тупике. По чьей вине? По своей ли, по чужой? Страшно понимать, что, даже если рухнут вокруг нас стены, и распахнётся над нами небо, и не надо будет бояться и прятаться, и дадут нам наконец

просто дышать, любить, искать, творить и жить, то останется самая высокая, прессовавшаяся по песчинке, возводившаяся годами по кирпичику стена — внутри нас, через которую уже не перелететь никогда на наших подрезанных с детства крыльях. Нас ещё хватит на то, чтобы задуматься, как мы могли так жить, но переделать себя уже не сумеем, и тем больнее мы — духовные холопы — будем корчиться от осознания своего бесплодия и бессилия и бежать по инерции на месте до конца дней своих.

Я верю, что придут новые поколения, лучше, добрее, сильнее и счастливее нас, которые с рожденья смогут без страха, гордо, достойно и честно смотреть в лицо жизни, но не мы, но не я.

Я так любил жизнь, я так любил солнце, воздух и лес, я так любил тебя. Я жил мечтой и надеждой. Но, наверно, я всего лишь мечтатель и всё это я придумал: и солнце, и воздух, и лес, и тебя. Нет ничего этого: солнце погасло, лес повырубили, воздух загадили, ты ушла. И нечем дышать, и не для чего жить. И осталось только рвануться к тому последнему берегу и выпасть навсегда из памяти людской.

Прости меня. Прощай, моя любовь».

X

Павел Петрович не умер. Я часто встречаю его в соседнем пивном баре, что стоит на бульваре за церковью. Это безобидный спившийся старичок. Обычно он сидит один в дымном углу и пьёт кружку за кружкой, ни с кем не вступая в разговор. Как-то по дороге в бар я увидел его у церковной ограды. Он стоял, сняв шапку, но в церковь не заходил.

— Дядя Паша, ты что, верующий? — окликнул я его.

Он обернулся в мою сторону, но словно меня не узнал. На глазах у него были слёзы. Он стоял так долго, будто молился про себя за оградой, потом повернулся и ушёл куда-то в сторону. Что же, пусть стоит, смотрит, никому он не мешает.

Через несколько дней после этой встречи мы сидели в баре за одним столом, и он неожиданно заговорил со мной, как бы продолжая начатый разговор:

— Каждый человек должен верить, любить и надеяться. Иначе он не человек, не человек в высшем смысле этого слова. Много чего у нас в жизни отнято, ещё больше потеряно по собственной глупости и трусости. Но даже если любовь осталась только в воспоминаниях, а надежды нет никакой, веру человек до последнего вздоха нести обязан.

— Дядя Паша, а ты крещёный?

— В том-то и дело, что нет, — с какой-то пьяной силой ответил он. — Хотел когда-то покреститься, а теперь поздно. Была когда-то женщина, которая молилась за меня, да нет уже её.

С этого разговора мы стали ближе с Павлом Петровичем. Он рассказывал мне за кружкой пива про далёкие страны, в которых бывал когда-то, особенно любил почему-то вспоминать об Африке, но странно: казалось, что ему и приятно, и больно говорить об этом. Врал, конечно, но слушать его было интересно.

Часто, сидя в своём углу за залитым пивом столом, он вынимал из кармана трясущимися руками какие-то замусоленные старые конверты и, шевеля губами, перебирал их, гладя пальцами, как делают слепые, будто читал про себя то, что хранилось в каждом из них.

Потом он доставал чистый лист бумаги, аккуратно клал его на стол, выбирая сухое место, и писал всегда только несколько слов — всего одну строчку. Написав их, он поднимал выцветшие глаза и смотрел через стол, через зал, будто пытался разглядеть далеко за стенами пивного бара что-то такое, что мучило его давно и не давало покою.

Однажды я случайно подсмотрел то, что он пишет. Это было начало письма:

«Любимая, единственная моя Иришенька!»

ТЕ, КТО ПРИШЁЛ В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Господь принимает всех: и тех, кто пришёл в первый час,
и тех, кто пришёл в последний час.
(из пасхальной проповеди)

Когда едешь летом из Клина в Москву, лучше переждать проходящие электрички и сесть в ту, что отправляется из Клина. Хоть и толпа народа, но удаётся найти место. В этот раз я даже сумел присесть у окна. Электричка ползёт медленно, останавливается на каждой станции, но мне торопиться некуда: Наточка на даче, дома никого. Отвернувшись от гама голосов, я гляжу в окно: как красиво — лес, речки, поляны. Эта зелень как-то роднится со мной. Не потому, что я давно знаю эти места, не потому, что настроение под стать ей: спокойное и мечтательное, — просто потому, что люблю я наше Подмосковье. Хорошо, что теперь есть дача. Отличная дача. Я помню, как рисовал план, а потом по этому плану строился дом. Замечательный дом получился: из бруса, обитого с двух сторон вагонкой. Всё это ещё доставать приходилось с трудом, но теперь мы с Наточкой каждое лето там. Сидим в креслах на террасе, во дворе растут яблони, сливы, вишни. Очень удачно привилась груша на бузине. Никто из соседей не верил, а привилась. Потом ещё просили, чтобы я им привил. Мне было приятно, когда у них тоже появились груши.

Тук-тук-тук, — стучат колёса. Динь-динь-динь, — издалека, как в школе, звенит забытый колокольчик. Бу-бу-бу, — кто-то ругается или говорит рядом. Никуда не надо спешить. Сейчас приеду в Москву, вымоюсь, возьму денег, куплю продуктов и вернусь к своей Нате обратно на дачу. И будем жить там с ней до октября. Динь-динь-динь, — звенит в голове колокольчик, и гул уставших голосов вокруг стихает, и глаза слипаются.

* * *

«Витенька, Витенька, просыпайся». Я ещё не открыл глаза, но слышу мамин голос: «Посмотри, какой он кудрявый, посмотри, какие у него волосики, посмотри, какой он

красивый». Я ничего не могу сказать в ответ. Мне только что исполнился год, я ещё не умею говорить, но я слышу мамин голос и понимаю её.

* * *

Какое весёлое, солнечное, беззаботное время. В парках играет музыка. Мы с мамой и папой гуляем, взявшись за руки, а потом едем в Тушино ловить майских жуков.

Детство осталось в памяти хороводом песен из уличных громкоговорителей, мягкой нежностью родительской любви и шуршанием длинных маминых платьев.

* * *

У нас прекрасная учительница — Мария Дмитриевна. У нас хороший, дружный класс. Я уже в девятом, а Наташа учится в восьмом. Мы живём по соседству. По-моему, я влюбился в неё.

* * *

Счастливая жизнь оборвалась. Началась война. Я перешёл в десятый класс, а Наточка в девятый. Скорей бы окончить школу и пойти на фронт. Я хочу воевать как все.

* * *

Я окончил школу с золотой медалью, и меня отправили в военное училище. Через несколько месяцев я получу звание лейтенанта инженерных войск, и тогда на фронт. Скорей бы. Я учусь, но чувствую себя так, будто отсиживаюсь в тылу. Ната с семьёй уехала в эвакуацию, на Урал. Мы с ней переписываемся, хотя письма идут очень долго.

* * *

Окончено военное училище. Как я ждал этих слов: «Товарищ лейтенант, завтра утром вы отправляетесь на фронт». Как все мы ждали этих слов. А мне сказали другое: «Товарищ лейтенант, приказываю завтра утром прибыть

в расположение...» — и назвали местоположение учебного центра в Подмосковье. Было обидно и стыдно. Я пошёл к командиру, но он лишь сказал в ответ: «Приказы не обсуждаются. Кругом, шагом марш».

* * *

Здесь я уже два года. Учу бойцов и пишу постоянно рапорты с просьбой отправить меня на фронт. Рапорты остаются без ответа. От Наташи нет ни писем, ни известий. Петя, мой однокашник, перед отправкой на фронт приехал ко мне и рассказал, что она ушла добровольцем и сейчас где-то в Ленинграде. Ленинград в блокаде. Как она там?

* * *

Ура! Командир, морщась, подписал мой очередной рапорт и наговорил множество нелестных слов и в мой, и в свой адрес: «А я что, хуже тебя? Я что, воевать, думаешь, не хочу?»

Когда мы ехали на фронт и уже пересекли границу Советского Союза, Левитан объявил по радио, что война закончена и мы победили.

* * *

Все, кто остался в живых, вернулись домой. Вернулась и Наташа. Я забегал к ней постоянно, а потом мы гуляли по улицам и говорили о войне и о нас.

Как золотому медалисту, мне предложили поступать без экзаменов в любой институт. Я выбрал Московский энергетический. В анкете при поступлении я не написал «из дворян», иначе бы не приняли. Написал «из служащих». Проскочило.

Сейчас, оглядываясь назад, думаю, что, наверное, было бы интереснее пойти в институт международных отношений: к изучению иностранных языков у меня всегда была склонность, а теперь больше ценят дипломатов, чем инженеров, но я не жалею. Я ни о чём не жалею, и о выбранной мной специальности тоже. Я ей отдал всю свою жизнь, и, по-моему, небезуспешно. Сделал несколько изобретений, написал несколько книг. Значит, не зря.

* * *

Я долго ухаживал за Натой, и мы поженились. Теперь у нас двое детей: девочка и мальчик. Мне предложили должность главного инженера в Эстонии, предоставили большую квартиру, и мы всей семьёй уехали из Москвы в Прибалтику.

* * *

Этот Новый год я запомнил на всю жизнь. Мы его встречали в семейном кругу, а в час ночи, с компанией сослуживцев, нас навестил директор фабрики, на которой я работал. Он был уже пьян и почему-то одет в женское платье. Мне это сразу не понравилось. Вся шумная ватага ввалилась с шампанским в руках в нашу квартиру и едва не разбудила детей. Выпили за Новый год, и директор вдруг приказал: «Все, кто меня любит, целуйте мне руку». И протянул руку для поцелуя. Каждый из пришедших с ним склонился над директорской рукой и поцеловал её. «Виктор, а ты?» Я могу поцеловать руку только у моей жены или дочки. «Я не буду целовать вашу руку», — сказал я громко. Шумное веселье вдруг захлебнулось и стихло. «Спасибо, мы все уходим», — трезвым голосом сказал директор. А на следующий день вызвал меня к себе в кабинет и предложил написать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Он мне был противен, наверное, за несколько лет работы я его ещё плохо знал, или плохо разбирался в людях. Не задумываясь о будущем, я написал заявление, и через две недели мы вернулись в Москву.

* * *

Сначала мы все ютились в одной комнате у Наташиной мамы — в коммунальной квартире. Дочь уже училась в седьмом классе, сын пошёл в первый. Постепенно и с работой всё наладилось. Тогда нам дали трёхкомнатную квартиру в новом доме.

К этому времени я уже был начальником лаборатории в крупном исследовательском институте. Нам предложили трёхкомнатную квартиру на третьем этаже. Мне было

неудобно забирать себе лучшую квартиру в доме, я её отдал рабочим, давно стоящим в очереди на квартиру, и мы поселились на первом этаже. Зато я стал высаживать под окнами смородину, вишню, яблони, и со временем мы оказались будто не в центре Москвы, а в загородном саду. В мае в окна вливался душистый аромат цветущих деревьев.

* * *

В свободное от вечерних занятий время я с сыном рисую карандашом: природу, лошадей.

Дочь выросла, вышла замуж и переехала от нас. Наташина мама умерла, моя мама ещё раньше. К нам долгое время по воскресеньям заходил в гости отец. Мы садились обедать за семейный стол и пили вишнёвую наливку под закуску и горячее. Водку я не люблю и не пью, разве что вино, когда приходят гости, или коньяк. Гости нас навещают часто: наши школьные друзья. Приходит Додик с семьёй или Абраша с женой, и, встав из-за стола, мы играем в шахматы. Как они теперь? Абраша с семьёй в Америке. Додик что-то давно не приезжал. К папе в последнее время я ездил сам. Пять лет назад он умер.

* * *

У меня уже три внука и маленькая внучка. Ната плохо себя чувствует в последние годы, и я их навещаю один. Времена изменились не к лучшему. Растерзали на кусочки государство. Теперь каждый вечер я вижу по телевизору ряху в виде буквы «Е», и мне хочется плюнуть в неё через экран, так, чтобы хоть какая-то малость в него попала. Я пропускаю мимо ушей доводы моего сына, что так лучше: всё развалить, а потом построить заново. Когда-то давно я это уже слышал. Как я был коммунистом, так им и остаюсь. Теперь это бранное слово, но мне стыдиться нечего: я никого никогда в своей жизни не предавал.

Пьяный дирижёр руководит оркестром. Его окружают разбогатевшие в одночасье босоногие бездари, неизвестно

откуда взявшиеся, а в оркестровой яме мается и топчется, переминается в ожидании с ноги на ногу народ.

Мы уже на пенсии, и только наша дача спасает от жуткого зрелища вакханалии на костях погибшей страны.

* * *

Я много читаю в последнее время: на русском, французском, английском, немецком. Когда я ещё работал, мне нравилось перед командировкой за границу выучить новый для меня язык. Я покупал словари, самоучители, и когда меня понимали в чужой стране, я радовался, как школьник, самостоятельно решивший трудную задачу.

Недавно сын дал мне почитать книгу «Жизнь после смерти». Странно, но она меня увлекла. До этого я думал о смерти как о чём-то неизбежном и пустом, как темнота и тлен. А на самом деле мало об этом задумывался. А теперь, неожиданно для себя самого, согласился внутренне с мыслью о том, что если жизнь не заканчивается нашим мирским существованием, то и материя переходит в иную, духовную оболочку. А если так, то Бог есть. До этого времени я никогда не думал о Боге. Мне с детства говорили: «Бога нет», — и я вырос с твёрдой убеждённостью в материальности мира. А сейчас вдруг пожалел, что никогда не ходил в церковь. Я вдруг понял, что можно и нужно верить в, казалось бы, совершенно разные идеалы: в светлое будущее на земле и в жизнь после смерти, в коммунизм и в царствие небесное, в то, что ты сумел и успел создать при жизни, и в Бога.

* * *

Будто трескотня отодвигающихся после окончания спектакля стульев, в голову ворвался нарастающий гул голосов и шорох поднимающихся со скамеек одежд.

Я открыл глаза и узнал перрон Ленинградского вокзала.

* * *

Захотелось увидеть сына, и я ему позвонил. У него вечно дела, но в этот раз он приехал неожиданно быстро. Отношения у нас с ним неровные. Может быть, потому, что он похож на меня. Мы оба вспыльчивые, но оба не можем долго держать обиду в себе. Из-за перемен, произошедших в стране, мы готовы накричать друг на друга, отстаивая своё мнение, а потом садимся рядом и говорим на нейтральные темы: о его детях, о книгах.

Этот вечер мы провели вдвоём, спокойно, не вникая в политику и в болото заоконной жизни, будто отгородившись от неё занавесками.

Я позвонил дочке — слава Богу, у неё всё в порядке. Позвонил Додику. Почему-то захотелось поговорить со всеми, кого я помнил и любил. Внук Андрюша спросил: «Деда, ты завтра едешь на дачу? Давай я тебя на машине отвезу». «Спасибо, Андрюша, не беспокойся. Я сам потихоньку доеду».

* * *

В Клину надо было подняться по крутой лестнице, спуститься и выйти на площадь, где останавливались автобусы.

Мне вдруг показалось, что наступило солнечное затмение, только наоборот: солнце слепило и резало глаза, а вокруг всё потемнело. Я присел на ступеньку, не стесняясь толпы, захотелось передохнуть и стрясти из головы подступившую черноту. «Наточка меня заждалась», — успел подумать я. Солнце теплом прожигало мои закрытые веки, и я в последний миг сказал про себя: «Прости меня, Господи».

Виктория Кайтукова

Москва – Владикавказ

МАГНОЛИЯ В ЦВЕТУ

«Ко мне приходит мама... живая. Мы разговариваем с ней», — неожиданно сказал мне папа. У меня округлились глаза от ужаса. «Ну вот, опять сочиняет или, может, ещё чего похуже...» — подумала я тогда. Он настаивал на своём, я не спорила. «А ты знаешь, что наша маленькая бабулька этапировала из Китая в СССР руководителя русской фашистской партии Константина Родзаевского?» Ну уж, это совсем байки... Хотя, конечно, в этой жизни чего только не случается. Бабушка как-то мне призналась, что в сороковых годах она начала работать на советскую военную разведку. Однако всё по порядку.

Эмиграция

Елизавета Семёновна Ревазова родилась в 1913 году в осетинской семье на станции Цицикар, под городом Харбин в Китае. Её отец и мать приехали в Манчжурию, как и множество других российских подданных, для строительства Китайско-Восточной железной дороги — КВЖД. В семье было две дочери — старшая Елизавета и младшая Раиса — и сын Георгий. Воспоминания бабушки часто возвращались в Китай. Она хранила в памяти все детали той жизни: запахи, звуки, местные кулинарные изыски. Училась в русской школе, китайский язык был в программе обучения.

— Как же мы ненавидели толстосумов-американцев! Часто после школы с подругами ходили на железнодорожную станцию их встречать. Их было несложно опознать, их отличало самодовольное выражение лица. В толпе мы преднамеренно с пренебрежением наступали им на пятки.

В двадцатые годы в Штатах был кризис, но бедность в Китае тогда не шла ни в какое сравнение с американской. Имен-

но поэтому часто наши девушки выходили замуж за американцев и уезжали. Нам это было противно. У моей сестры Раи, красавицы, занявшей второе место в международном конкурсе красоты, никогда не возникало мысли выйти замуж за иностранца. Любого, даже за японца. Кстати, этих сватов хватало во время японской оккупации. Странно, почему они так стремились посвататься ко мне? Меня это пугало. Я знала — выйду замуж только за своего, — рассказывала мне бабушка о годах своей молодости.

...Помню, когда я была маленькой, однажды громко закричала. Такой испуганной я бабушку никогда не видела. Тогда она мне поведала историю: «Это было во время японской оккупации. Я услышала истошный вопль своей сестры, доносившийся с сопок. Меня от неё отделяло несколько сот метров. Не помню, как я бежала к ней. Японец держал у виска Раисы пистолет. Всё обошлось... Но я с тех пор не могу слышать крики, мне становится плохо».

О среде русской эмиграции бабушка много не говорила, но отчётливо помню такой рассказ.

— После школы я сняла комнату в доме, принадлежавшем вдове русского белого генерала. Жила впроголодь, работала швеёй. Однажды от голода, ничего не соображая, бросилась в окно. Меня случайно застали, вытащили за ноги из оконного проёма... И представляешь, годы спустя, когда я приехала в Союз и училась в институте экстерном, на меня писали доносы: мол, я — дочь миллионера... Я знаю этих людей, они по-прежнему ходят по городу.

Судя по этому рассказу, русская эмиграция была разношёрстной. Всего хватало. Однако Елизавету было сложно сбить с толку. Она много читала, в том числе русскую литературу. Мечтала вернуться на Родину, в Осетию. А ещё она посещала церкви, причем бывала в абсолютно разных конфессиях. Любопытно, что её семья соблюдала мусульманские традиции. Она же была православной. Пела в церковном хоре — голос у неё до конца жизни был замечательный! Молилась почему-то по-католически, прижав ладони к груди. Знала наизусть практически всю Библию. Но вот что грустно: наблюдая за батюшками и ксёндзами, она примечала

подчас в них не лучшие человеческие качества. Какие именно? Бабушка по какой-то причине не уточняла этого. И вот однажды она, встав дома на колени и сложив руки для молитвы, вдруг точно поняла: она не верит в Бога! Так она стала атеисткой. Для неё это было прозрением. Для меня, её уже ставшей взрослой внучки, было важно рассказать о вечной душе. Ведь Бог есть! Но у каждого свой путь. Елизавета Семёновна Ревазова пошла по пути атеиста — человека честного, чистого, духовно и морально наполненного.

Социальная справедливость для неё была не пустым выражением. Что наполняло её душу? Думаю, книги. Русская классическая литература с её добротой, всепрощением и склонностью к философии была очень близка бабушке, я даже затрудняюсь назвать её любимого писателя, потому что она любила всех вместе и каждого в отдельности: Пушкина, Лермонтова, Толстых (Льва и Алексея), Достоевского и Есенина. Диккенс был её одним из самых любимых европейских авторов. Впрочем, сложно сказать, кого она не любила, что лишний раз убеждает меня в её безупречном литературном вкусе и всесторонней образованности.

Обожала моя бабуля Александра Вертинского, который долгое время жил и выступал в Харбине. Бабушка не раз бывала на его концертах, знала его песни наизусть. В конце века она часто напевала нам: «Мадам, уже падают листья...». Однажды я решила записать её исполнение на профессиональный диктофон. Но эта запись была случайно затёрта. Её голос остался навсегда только в моей памяти. Увы...

На Родине

Семья приехала в Осетию в 1937 году. Ехали товарным поездом, везли весь домашний скарб. Бабушка рассказывала, что по дороге, уже на территории Советского Союза, их остановили. Высадили без объяснения причин одну родственницу. Больше её не видели. Впрочем, ощущение, ожидание и предвкушение встречи с Родиной было всепоглощающим, затмевающим все другие эмоции и события, даже печальные и неожиданные. Их общий с другими народами ДОМ

оказался не совсем таким, каким казался издалека. Однажды Раиса прибежала к Елизавете взволнованная и в неописуемом восторге закричала: «Там на перекрёстке ДАЮТ ткань!» Сёстры быстро побежали узнать о таком широком «бесплатном» жесте властей. И оказались разочарованными. Советское выражение имело совсем другой смысл, дотоле им неизвестный, но со временем оно стало их обиходным.

Раиса поступила на медицинский факультет и стала хирургом. Моя бабушка окончила экстерном исторический факультет. В конце тридцатых годов в моде был немецкий язык. В Китае же она учила английский. И, между прочим, читала на этом языке литературу свободно до конца жизни. А вот с немецким поначалу не заладилось. Пошло как по маслу, когда она увидела схожесть написания слов из двух европейских языков.

Удивительно, но Елизавета никогда не была наивной, недалёкой, не видящей сталинской действительности. Она держала ухо востро и наблюдала, наблюдала, наблюдала — и делала для себя выводы: так поступать можно, а вот этот поступок — табу. Её родственница, также приехавшая из Китая, решила подружиться с женой посла Турции. Дружба продлилась недолго. Двери НКВД закрылись навсегда за инфантильной девушкой в очках с толстенными стёклами.

...О войне бабушка не любила рассказывать. 9 мая всегда плакала. Уже в девяностых годах она рассказала мне, что была военной разведчицей. Она ходила за линию фронта, и не раз, добывала нужные сведения о противнике, местах его дислокации и технике. Были у неё военные награды, медаль «За оборону Кавказа» — одна из них.

Замуж вышла бабушка после войны, дед был военным корреспондентом. Но вот до того она почему-то долго жила в Литве, в Лиепае. Её воспоминания об этом крае были яркими и точными. Однако почему-то у нас, родных, никогда не возникало вопроса: «А что ты делала так далеко от Осетии, своего дома?» Но вот однажды она поделилась воспоминанием о том, как после войны, уже в Орджоникидзе, её вызвали в один серьёзный кабинет. Держали всю ночь. Задавали один и тот же вопрос, показывая на фотокарточку: «Вы знаете

этого человека?». Она не могла точно сказать, почему ей знакомо это лицо. На ум пришло вдруг, что он бывал дома у них, ещё в Китае. Это оказался офицер советской разведки. Папа Елизаветы, который принимал его, умер в эмиграции. Так что, вероятно, моя бабушка оказалась преемницей дела своего отца.

Эту странную, невероятную историю ещё больше запутал мой папа — Валерий Михайлович Кайтуков — физик, философ, дважды кандидат наук, мастер спорта и тренер сборной Кубы, в том числе по самбо. Папа рассказал, что бабушку завербовали ещё в Китае. После войны Елизавета Семёновна преподавала в школе военной разведки в Лиепае, где и познакомилась со своим мужем — Михаилом Борисовичем Кайтуковым. К слову, их пара слыла одной из самых ярких в республике. В Осетии их имена знают многие. Но откуда появилась версия о похищении бабушкой из Китая руководителя русской фашистской партии и имеет ли она под собой реальные исторические факты, мне неизвестно. Боюсь, этого я уже не узнаю: разведчики во все времена уносят свои тайны с собой.

ПИСЬМА К ПАПЕ

(отрывок из повести)

Тебя нет на этом свете уже больше шести лет. Я не могу даже прийти к тебе на могилу — её попросту не существует. Эти ужасные греческие законы: спустя шесть лет сделали эксгумацию, перемыли косточки и сложили в специальный ящик. И стоит он в каком-то помещении. Мол, земля в Греции — дорогая... Странно, но ты хотел, чтобы тебя похоронили на Эвбее, там, где ты последнее время жил. Ужасно жил. По сути, маялся на этой грешной Земле.

А все мытарства — ты помнишь? — начались, как ни странно, с момента твоего переезда в Канаду. В начале девяностых, будучи не в силах преодолеть серьёзные проблемы в собственном бизнесе здесь, в России, ты решил обрести тихую гавань. Было всё, о чём ты мечтал с молодости: свой

отдельный дом, большая собака. Правда, ты зачем-то выписал из Москвы свою бывшую секретаршу Леночку.

Тридцать лет разницы в возрасте тебя не смущали. Вы венчались в Монреале. Как ты объяснял мне много позже, во время нашей последней встречи, ты относился к длинноногой красавице по-рыцарски. Ты её спас от чего-то или от кого-то. Уже плохо помню. Наверное, ты придумал это. Даже, скорее всего, так и было. Ты же Кайтуков. И ты сын корреспондента Михаила Кайтукова и племянник народного поэта Северной Осетии Георгия Кайтукова. И таланта сочинять, фантазировать, раскрашивать хмурую реальность жизни яркими красками тебе не занимать. Вот ты и придумал Её, своего ангела. А Леночка оказалась обычной московской профурсеткой. Тогда мы этого ещё не знали. Только моя бабушка (твоя мама) не одобряла этот брак: «Валере нужна женщина постарше, чтобы была ему другом и соратником», — уверена она.

Опуская все остросюжетные, детективные истории, связанные с Леной (ты, правда, отрицал их), вернёмся в Грецию. Туда ты решил переехать, окончательно разочаровавшись в англосаксонском мире. Купил домик на острове Эвбея, рядом с морем. Лена поехала туда первой. Весь домашний скарб, а также рукописи и коллекционное оружие пошли в контейнерах по морю, на борту корабля. И вот беда, откуда не ждали! Оказалось, что Лена, заполнявшая официальные разрешения на ввоз оружия в страну, ошиблась. Положила бумаги не в тот контейнер. Об этом я узнала уже после твоей смерти. Ты почему-то не хотел мне говорить об этом. Потом — многолетние хождения по греческим судам, которые всегда откладывались. Ты устраивал голодовки на улицах Афин, писал в разные инстанции. Мы, со своей стороны, обращались к российским чиновникам, публиковали материалы в газетах. И что в итоге? Я получила короткое ответное письмо из МИДа: «Мы в курсе происходящего с гражданином России Валерием Михайловичем Кайтуковым. Ввиду особенностей греческого судопроизводства ничем не можем вам помочь».

А тем временем ты в соответствии с законами Греции не имел права уезжать из страны, работать... Диабет

усугубился раком и целым букетом других серьёзных болезней. Контейнеры арестовали, ценные вещи, включая твоё коллекционное оружие, пошли «в народ» — его продавали уличные торговцы (видимо, прикормленные таможенниками или ещё кем-то). Власти, к которым ты с возмущением и негодованием обращался, делали вид, что ничего не понимают. Венчанная жена бросила тебя сразу. Это человеческое предательство ты воспринял трагически. Ведь ты любил её, говорил о ней как об ангеле...

Она же закрутила бесстыдный роман с местным деревенским жителем, когда ты ещё был в Канаде, решал проблемы с бизнесом... Помнишь, ты мне рассказал об этом: «В Монреале у меня оставалось много незавершённых дел. Вдруг звонок от Лены. Она испуганно просит меня срочно приехать в Грецию. Ничего не объясняет. Я тоже перепугался, бросил всё и рванул к ней. И что я там увидел? Лена рассказала мне о своём новом любовнике. А потом, взяв за руку, водила по домам деревенских жителей. Представляла меня: это мой муж. Но испорченную репутацию всё равно не вернёшь».

Какое-то время Лена продолжала возвращаться домой после своих многочисленных приключений на стороне. Потом ты ей сказал: уходи.

Я застала её, когда вместе с мужем приезжала к тебе в Грецию. Её поведение напоминало кошачьи повадки в брачный период. Ты держался молодцом, но я чувствовала, как никто другой, — ты сильно сдал. Тебе очень плохо.

Я знаю, что ты слышишь меня, когда я к тебе мысленно обращаюсь. Не хватает тебя, твоей силы, ума, да просто обычного общения.

Мы встречались не так часто. Что поделаешь, ты с моей мамой развёлся, когда мне было всего три года. Но ты был для меня всегда Богом, кумиром! Удивительно, но мы с тобой вдвоём в деталях помнили один и тот же момент: после твоей победы в борьбе — самбо я, маленькая, пятилетняя, гордо подбежала к тебе и взяла за руку. И всем своим видом показала публике — это мой папа!

Ты часто говорил: «Я — гений. Ты меня воспринимаешь как просто папу. Это нормально. Однако мои книги, в особенно-

сти «Эволюцию диктата», сейчас изучают не только в российских университетах, её штудируют студенты в лучших университетах многих стран мира. А сколько других философов, не первой руки, сделали на моих трудах научную карьеру? У тебя папка — лучший. Видишь, какие мышцы? Я каждый день тренируюсь с юности. Да что там, в 40 лет выходил на помост самбо...»

Родной мой, я знаю, что ты тренировал ежедневно не только мышцы. Главной была тренировка ума, сердца, души.

Валерий Михайлович Кайтуков. Ты осетин, но был ты, по большому счёту, человеком мира. Не забуду одну из лекций, которую ты читал в Институте физики Российской академии наук в середине нулевых. Тогда ты удивил меня, сказав аудитории: «Ваша страна — лучшая!» Теперь я понимаю, почему ты не сказал слово «наша»: тем самым ты показал свою нейтральность мыслителя, философа, показал взгляд на Россию как бы со стороны. И этот взгляд для многих слушавших лекцию был истиной в последней инстанции: тебе верили, к твоему мнению прислушивались и разделяли его. Удивительно было, как ты, тогда сильно ослабевший, худой от диабетических осложнений, читал по полтора часа в день лекции в Москве!

А приехал ты тогда для того, чтобы сделать трансплантацию стволовых клеток. В каком-то серьёзном институте тебе пообещали, что эта операция тебе поможет победить диабет. Заплатил ты немалые деньги за это. Итог — рак. Впрочем, я не знаю, да и никто не знает, какой механизм в организме запустили эти новые стволовые клетки.

...Приехать к тебе пока не могу — личный финансовый кризис. Впрочем, почти как всегда. Но ты жди меня, я обязательно буду приходить к тебе в своих мыслях, в своих письмах.

Помнишь, в 1999 году ты прислал мне письмо из Монреаля? Ты не особо любил эпистолярный жанр, но в тот раз ты решил ко мне обратиться таким образом. Нас разделял океан, а по телефону ты тоже не любил говорить, тем более на такие серьёзные темы. Так вот, письмо ко мне пришло уже не в первозданном виде. Пока оно ехало, летело и плыло в Москву с американского континента, по случайности

(или нет) почти весь текст оказался размытым водой. Но нетронутым остался тот фрагмент, ради которого, вероятно, и было задумано это письмо. Вот строки, которые я часто перечитываю: *«Хотелось бы мне быть уверенным, что, взрослея, ты приходишь к пониманию простых истин, которые стоят в основе человечности. В частности, что пустые желания и дурацкие развлечения — не есть суть и основа бытия. Любовь, участие, милосердие, стойкость — выше в этой короткой и жестокой жизни».*

Папка, знай, этот урок твой я усвоила на отлично.

Твоя Виктория



Ирина Китаина

г. Москва

ВЛАДИМИРУ ЭТУШУ

До войны Вы щукинцем-студентом
Об актёрстве начали мечтать,
Но суровым сорок первым — летом —
Родину ушли Вы защищать!

Защищать Москву свою родную —
Яузу, Покровку и Арбат —
И себе не мыслили иную
Вы судьбу, Талант, Актёр, Солдат!

А потом — на сцену восхожденье,
А потом — любимое кино:
Зрительного зала восхищенье —
Сколько же таланта Вам дано!

Доблесть, храбрость, мужество, отвага!
Россыпь замечательных ролей!
И товарищ всем знаком Саахов!
Шпак и Брунс! Спасибо, лицедей!

И, конечно, «Пристань» дорогая:
Искренность и мудрость — без границ!
Вот она, судьба у Вас какая:
Сколько персонажей, сколько лиц!

Сколько впечатлений и событий,
Сколько золотых учеников!
Перевоплощений и открытий
Зритель ждёт — всегда он к ним готов!

Фронтовик-актёр, профессор Щуки,
Зритель Ваш всегда стремится к Вам!
«Турандота» наплывают звуки —
Верим Вашим чувствам и словам!

ОБ ОДНОМ ДИРИЖЁРЕ

Плыли облака... На синем небе —
Белые большие облака...
Были мои мысли не о хлебе —
Дирижёра вспомнилась рука...

Взмахивал он палочкой — и руки
Слепо подчинялись старику:
Зал вздыхал от радости и муки,
Повторял любимую строку.

Многим строфы вспомнились и рифмы
В дивном вихре скрипок и валторн:
Наши души охватили ритмы,
А сердца — единый метр и тон.

Дирижёр совсем не утомился —
Радовала дружная игра:
Он у мэтров музыке учился —
Стать известней их пришла пора.

Но пока профессором почётным
Стать он не стремится — не готов:
Графиком гастрольным грезит плотным
И мечтает про квартет альтов.

И всегда — улыбка музыкантам,
Залу — низкий от него поклон:
Счастлив тем, что смог собрать таланты, —
Счастлив и гордится этим он.

Счастлив, что созвучны наши души
Его взмахам, скрипкам и альтам,
Хочет, чтоб звучанье было лучше:
Скажете, мечты не по годам?!

Он не молод, но — юнец душою,
Сердце — вольной птицею в груди,
Прожил жизнь он яркую, большую
И всегда — в пути, в пути, в пути!

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

На год меня ракета старше —
И праздник этот дорог мне:
Всегда в строю, всегда на марше
Те, кого чтим мы по весне.

Те, кого чествуем в апреле —
Они герои на века:
Герои в трудном звёздном деле,
Чей взлёт — сквозь тучи-облака.

Одни взлетели — и вернулись,
Другие — в небе навсегда:
К ракете шли... Не обернулись...
Прошли года, года, года...

И всё же — праздник!.. Космос этот —
Он покорён уже давно:
Та легендарная ракета
И то «шипящее» кино...

Со старой плёнки белозубо
Гагарин главные слова
Сказал: «Поехали!» О чудо!
О его храбрость! О молва!

Молва о смелом человеке,
О ста минутах над Землёй,
О покорившем Космос веке!
О самый первый! О герой!

Но жизнь оборвалась так рано...
Последний роковой полёт:
Исчез их экипаж с экрана,
Разбился лёгкий самолёт...

Беда и скорбь... С какою болью
Страна главу склонила ниц...
С какой печалью и любовью
Вослед смотрели сотни лиц...

Но праздник есть — и память с нами:
Мы помним эти имена!
Земными тёплыми словами
Петь гимн героям честь дана!

ОДА ПЕЧНИКАМ

Когда румяным караваем
Хозяйки потчуют гостей,
Я гимн пою не урожаю,
А вам — создатели печей!

Без печек в доме нет уюта,
Без них не строят новый дом,
Что, как на корабле каюта,
Овеет негой и теплом.

Кому-то каменка по нраву —
Она для банного тепла,
Иль печка русская по праву
Кому-то исстари мила.

Все пожеланья и запросы
Учтёт старательный печник,
И даст ответы на вопросы
Рукастый опытный старик.

Он виртуозно дело знает,
И сложит печь на совесть он:
К печной работе прикипела душа —
И мастеру — поклон!

У каждой печки — своё имя,
Свой адрес и хозяин свой,
Свой нрав, в характере — гордыня,
Свой автор — мастер мировой!

Ты шведка, финка иль голландка?
У печек и гражданство есть!
Свой изразец, своя закалка,
А кладок столько, что не счесть!

Доверьтесь мастеру печному —
Наполнит он ваш дом теплом:
Не будет холодно зимою —
Согреет печь своим огнём.

У каждого есть дом любимый —
Он добрый, тёплый и родной!
За печь спасибо, мастер милый!
Печник, тебе — поклон земной!



Вера Кошелькова

п. Хорлово, Московская область

О МАМЕ

С любовью глядя на портрет,
Я часто маму вспоминаю
И, что её роднее нет,
С годами больше понимаю.

Свой след оставила война:
Сгоревший дом, в тылу скитанья.
С ребёнком маленьким, одна,
Перенесла все испытанья.

Признанье, верность и любовь
Отца вернули в дом с победой.
И жизнь почувствовалась вновь —
Две дочки появились следом.

Она воспитывала нас,
Не зная праздности и скуки.
Погладить бы, согреть сейчас
Её натруженные руки.

Свою семью любила, дом
И нам внушала постоянно,
Что достаётся всё трудом,
А не бездельем и обманом.

Немного строгая на вид,
Она была простой и скромной,
Источник нежности, любви
Неисчерпаемой, огромной.

Могу я говорить ещё
О лучшей женщине на свете
И, чтобы не забыть её,
Стихи свои оставлю детям.

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Е. КАРПОВУ

Его награды боевые
В музее бережно хранятся.
Односельчане и родные
Геройским подвигом гордятся.

На фронт ушёл по доброй воле.
В боях отстаивал столицу,
Считал позором быть в неволе,
Такого не должно случиться.

Прошёл дорог немало славных,
На реках делал переправы.
В сраженьях жарких и неравных
Стоял он грудью за державу.

Он не покинул поле боя
Во время вражеских налётов
И стал заслуженно героем
И настоящим патриотом.

В стране великой знает каждый,
Что круг людей таких не узок.
Простой земляк наш Виктор Карпов —
Герой Советского Союза!

Софья Кочегарова

г. Моршанск, Тамбовская область

ВЫШИТАЯ ЖИЗНЬ

Моя прабабушка, Сапожникова (в девичестве Курепова) Мария Александровна, была из очень бедной семьи. В четыре года её отправили работать, нянчить чужих детей за кусок хлеба. Потом, когда она подросла, стала зарабатывать вышивкой, ткать холсты, ну и другие работы тоже выполнять, конечно. Люди говорили, что всего богатства у Марии — длинная коса да руки золотые. Когда прадед Яков Алексеевич Сапожников стал к ней свататься, первым делом пошил ей ботинки. Прадед и прабабушка прожили вместе много лет, построили большой дом, вырастили много детей (родили 10, пятеро потом умерли) и освоили много профессий. Больше всего было известно прабабушкино мастерство вышивальщицы. Вышивала она не только народные узоры, цветы и петухов. Вышивала она сказочные сюжеты, танцующих людей, поющих и летающих птиц. Вышивала на постельном белье, полотенцах и скатертях, на подушечках и наволочках, картины и коврики. Некоторые из работ у неё покупали люди, некоторые она дарила, и несколько из её вышивок осталось у её детей и внуков.

Я сомневалась, являются ли вышивки семейной реликвией, но потом вспомнила, что в нашем музее хранятся вышивки, значит, они представляют собой какую-то историческую или культурную ценность, значит, могут вышивки считаться семейной реликвией. Вышивки моей прабабушки относятся к началу двадцатого века, ведь больше всего она вышивала, когда была молодой (она 1904 года рождения), есть несколько довоенных и несколько таких, которые прабабушка вышивала уже старенькой, в 70-е годы. Умерла прабабушка в 1988 году. Бабушка тоже умеет всё: шить, вязать, знает все виды вышивки, только вышивать не любит, говорит, что с бабой Маней не сравнится. Мне судить трудно, мне трудно

даже понять, как можно множество долгих вечеров, а может, даже ночей посвятить такому утомительному занятию. Устают глаза, спина, руки, а стежочки всё равно должны быть всегда ровненькими.

Больше всего меня удивляет, как почти неграмотная женщина, окончившая всего один класс, писавшая как курица лапой, умела изобразить движение, жизнь, как подбирала цвета. А они действительно подобраны, я знаю, мы проходили это на занятиях в художественной школе.

На светло-синей, истончившейся от времени ткани танцуют мужчина и женщина в народных костюмах. Изображение складывается из мелких ровных крестиков, кажется, что их пропечатал автомат или принтер. На самом деле это моя прабабушка Мария Сапожникова вышивала зимними вечерами. Причём, как рассказывала бабушка, ранние вышивки делались без канвы и без схем. Бабушка помнит из детства, которое пришлось на послевоенные годы, как её мама считала количество нитей при вышивании. На глаз нужно было определить размер крестика и соблюдать его. Если я не ошибаюсь, то размер крестика составляет три продольные нити на три поперечные. Трудно было бы заставить современную женщину или девушку потратить столько времени и усилий на подсчёты.

Мне изначально не верилось, что в те непростые годы можно было найти нитки мулине разных цветов. Расспросила родственников, покопалась в интернете и выяснила для себя: оказывается, в советские годы не только продавались, но и выпускались мулине — заводом им. Кирова. У моей мамы, в её стародавней шкатулке, сохранилось несколько толстеньких косичек ниток зелёного, болотного и бордового цвета. Она их бережёт непонятно зачем, ведь вышивать ими, скорее всего, нельзя, да и, как мне кажется, у мамы не найдётся на это времени. Вечерами и ночами она, бывает, работает, но не с нитками и иголками, а за компьютером. Так вот, на этих нитяных косичках есть этикеточки, где обозначен производитель. Были нитки и в революционные времена, в это верится с трудом, но мне удалось по воспоминаниям родных и знакомых восстановить истину. Оказывается,

приходили в деревню, а потом на станцию и в рабочий посёлок менялы и меняли всякие красивые вещи на продукты. Были среди этих вещей и принадлежности для рукоделия. Вот какие трудности приходилось преодолевать, чтобы заниматься творчеством. Я считаю рукоделие настоящим творчеством, нисколько не хуже стихов и романов.

Вышивку, на которой изображена танцующая пара, я называю для себя просто «Танец», возможно, у неё было другое название. Когда я была маленькой, я представляла себе, как жили эти люди, как они любили друг друга, как собирались на праздник, надевая на себя свою самую красивую одежду, как гордился мужчина своей видной женщиной и её нарядной одеждой, как смотрели на них зрители — старики и дети. На вышивке видно, что пара двигается. Ленты в причёске и головном уборе женщины развеваются, кажется, будто видно даже пыль из-под сапог мужчины. Одежда на танцорах яркая, краски не выцвели за семьдесят с лишним лет, а вот ткань, по которой вышито, стала совсем тонкой, наверное, скоро начнёт рассыпаться. Тогда я отнесу «танцоров» в музей, может быть, там получится сохранить вышивку. Отнесу две самых интересных, моих любимых, работы — «Танец» и «Девочка с собакой».

Про вышивку «Девочка с собакой» многие скажут: распространённый сюжет. Сюжет — может быть, но наша «Девочка с собакой» в интернете и на выставках мне не встретилась ни разу. На лужайке возле леса сидит хорошенькая девочка, рядом с ней большой тёмный пёс, похожий на овчарку или даже волкодава, только добрый. Деревья вокруг шелестят листвой, трава мягкая и шелковистая, мир полон тепла и света. У девочки отличное настроение, она улыбается открытой улыбкой — всё это, солидный кусок жизни, — в вышивке прабабушки. Вышита эта картина на домотканом полотне. В деревнях тогда многие сами изготавливали ткани, у моей прабабушки тоже был ткацкий станок, я даже застала льняные домотканые полотенца, грубые, жёсткие, как будто вечно не истлевающие, подрубленные бабушкиной рукой (они были в её приданом). Полотно под вышивкой не настолько прочное, оно поистёрлось, нити истончились.

Мои любимые вышивки — вышивки крестиком, маме больше нравится мережка. В те давние годы мережка являлась традиционным способом декорирования одежды, предметов быта, полотен. Я посмотрела, как делается вышивка мережкой. Нити полотна выдёргиваются в одном направлении, а оставшиеся нити переплетаются рабочей нитью так, что получаются ажурные узоры. Я бы так не смогла, точно. А вот от моей прабабушки сохранилась вышивка мережкой «Кот». На ней даже вышитыми буквами внизу подписано «кот», правда, «к» немного кривовата, но впечатления не портит. Кот изображён в спокойных тонах. Основной цвет — бежевый, по нему — рыжие и белые пятна. Розовый носик, зелёные глазки, светло-серые усы, высветленные ушки — так и хочется погладить. Одно время, когда мама ещё не была мамой, а всего-навсего девочкой, она боялась засыпать в темноте за шкафом, которым её родители отгородили детскую зону в общей комнате, тогда бабушка пришила «кота» на мамину подушку. Кот «жил» долго на думке на мамином диване, сильно выцвел, потёрся и его от подушки отпороли и отправили к другим вышивкам, к бабушке на антресоли. Чем необычен кот? Тем, что ему больше лет, чем моей маме, и техникой выполнения, ведь обычно мережкой вышивали цветы и абстрактные узоры. Кстати о цветах. Есть у нас и вышивки цветочные, но мне они не кажутся особенными. Раньше в каждом доме были подобные. И орнамент из роз тоже считался традиционным, потому что роза — один из древних символов рода, а гирлянды из роз, вышитые на дорожках, скатертях, салфетках, рушниках, вышивали непрекращающейся гирляндой, как символ непрерывного рода (чтобы род не прервался, семья не прекратила своё существование). Собственно, каждый элемент старинной вышивки имел своё значение, жаль только, что много знаний об этом утрачено. В музеях знают многое, но тоже не всё. Об обрядовой вышивке рассказать могут много, а о бытовой — чуть-чуть.

Иногда мама и бабушка начинают перебирать старину, вместе лезут на антресоли, достают старые вышивки прабабушки, детские вышивки мамы, блокнотик с образцами вязания времён бабушкиной молодости, бисерные картинки

моей старшей сестры. Я без фанатизма отношусь ко всяким древностям, но в такие моменты становится тепло на душе, как-то даже трогательно. В носу щекочет непонятно почему: от пыли или от того, что слёзы подступают, хотя совсем не грустно и не печально, а наоборот, радостно от того, что в нашей семье такие рукодельницы есть. Моя бабушка говорит, что на её родине (в Нижегородской области) все рукодельницы. Кто не умеет шить, вязать, вышивать, тот просто рабочая сила — на завод ходить или за скотиной, а вот женщина, умеющая красоту своими руками создать, совсем другая, более уважаемая. Горжусь, что моя прабабушка умела создать красоту, не просто красивые вещи, а вышитую жизнь, созвучную её мироощущениям и эпохе.



Ирина Кравец

г. Владивосток

РИСОВАЛА ДЕВЧОНКА ВОЙНУ

Я войну рисовала пятилетним ребёнком
По картинкам, рассказам — как виделось мне,
И порой приходили рисунки к девчонке,
Как ожившие страшные фильмы, во сне.

Я немела от страха, летела куда-то,
Я спасала котёнка из-под вражьих сапог,
Я бежала навстречу советским солдатам,
Чтобы дядя бедняжке-котёнку помог.

Я на поле картошку копала для мамы:
Вдруг отпустят со смены, а дома обед:
— Кушай, кушай, мамуля! И чай пей морковный! —
А стряпухе всего-то неполных шесть лет...

...Ото сна пробуждалась и кралась к комоду,
Доставала бабулин секретный платок
И сжимала в ладошке медаль «За отвагу»,
Ей в войну награждён был мой прадед-стрелок.

Чёрный хлеб, огурцы — и айда спозаранок
В сельский парк — место встреч ребятни!
Там другая игра: все теперь партизаны.
Мы воюем до ночи, пока не зажгутся огни...

...На завалинке дед:
— Всех врагов победили?
Кто сегодня добыл «языка»?
И никто не ругал. Всем семейством шутили:
— Макароны — герою! И стакан молока!

Засыпая, я помню, гордилась собою:
Ведь сегодня в разведку ходила одна.
Только дед мой считает девчонку смешною...
— А я верю тебе! — подмигнула в окошко Луна.

Иаков Липянский

г. Рига, Латвия

СВЕТЛАЯ МЕЧТА

Новый год... Этот праздник любим мною с детства. Он начинался для меня, совсем ещё маленького мальчика, с волшебной мечты, зарождавшейся в начале декабря. Я каждый день думал о том, что скоро, вот-вот, он, мой любимый праздник, придёт, и мечта о весёлом, добром, светлом, интересном и счастливом Новом годе сбудется. Так хотелось прожить его в радости, без обид, потерь и несчастий.

25 или 26 декабря наряжали мы с мамочкой моею ёлочку, а за день до этого выбирали её на ёлочном базаре — небольшую, но обязательно пушистую, пахнущую свежей хвоей и морозцем. После долгих наших хлопот нарядная, сверкающая разноцветными шарами и гирляндами лесная красавица устанавливалась возле моей кроватки и радовала глаз до старого Нового года.

Проснувшись рано утром, в предрассветных сумерках, я мысленно с ней разговаривал, как с родной сестричкой или любимой подружкой, и она всегда отвечала мне! Во всяком случае, мне так тогда казалось, и я в это свято верил, и никто на свете не смог бы переубедить меня. Мне представлялось, что ёлочка тоже радовалась беседам со мной: каждой своей иголочкой, каждой красивой игрушкой, каждой светящейся лампочкой она завораживала меня, приглашала в сказку. Так, за неспешной беседой, мы вместе встречали поздний зимний рассвет. Впереди был новый день, который заканчивался всегда одинаково — сказкой на ночь, которую рассказывала мне мама. Но я не спешил засыпать, мне нужно было рассказать своей лесной подружке о том, чего я хотел больше всего в жизни. А хотелось мне, чтобы эти мгновения праздничного настроения продолжались вечно и никогда не заканчивались, чтобы радость ожидания необыкновенного чуда не уходила из дома и сердца с наступлением 1 января. Чудеса же в новогоднюю ночь происходили всегда. И главным из чудес для меня было появление Дедушки Мороза с красивым внушительным

посохом, с большим (как мне казалось) тяжёлым красным мешком за могучими его плечами и замечательной затейницы и добродушной вселюбящей красавицы Снегурочки. Встреча с ними таила в себе ещё одну светлую, белоснежную, добрую сказку, которая побеждала всяческое проявление зла, ибо я твёрдо верил в безоговорочную волшебную силу Дедушки Мороза и Снегурочки, помогающих людям стать счастливее.

К сказочной встрече этой я готовился заранее, с трепетом: разучивал новые песенки, стишки, танцы. До сих пор мне помнятся весёлые хороводы с шутками и смехом, которыми руководили Дедушка Мороз и Снегурочка 31 декабря. Незабываемо хорошо было чувствовать в своей руке их добрые, тёплые, любящие руки. Зайчата, волчата, Мальвины, принцессы, медвежата, рыцари и богатыри — кого только не было на этом празднике! Все кружились вокруг ёлочки, дружно пели и смеялись заразительным детским звоном.

После весёлого праздника каждого ожидали долгожданные подарки: из рук Дедушки Мороза я получал большущий красочный пакет, в котором были мои любимые конфеты разных сортов, красивые яблоки и мандарины. А утром первого января под ёлочкой или возле входной двери лежал другой мешочек от Дедушки Мороза с какими-нибудь интересными игрушками или металлическим конструктором, который мы вместе с папой увлечённо собирали неделями и строили из деталек красивые города, космические корабли, самолёты, автомобили.

...Никогда не разочаровался я в Дедушке Морозе со Снегурочкой, даже тогда, когда узнал, что они не настоящие, что это мои мама и папа, одетые в новогодние костюмы любимых мною сказочных героев. По секрету скажу, я стал любить их ещё сильнее: в непростое, не всегда сытое и радостное время они так тонко чувствовали мою душу, моё сердце и шли им навстречу, приглашая в наш дом сказку и чудо.

Много воды утекло с той поры, а новогодние пожелания, сказанные однажды моими родными Дедом Морозом и Снегурочкой: «Пусть всё плохое остаётся в прошлом и только хорошее ждёт нас впереди!» — сопровождают меня по жизни. Спасибо вам, дорогие, за науку жить с Верой.

ПОСЕЛИЛАСЬ ДУША...

Поселилась душа где-то там, средь берёз,
Где поёт вдаль бегущая речка,
Где с утра запах свежего сена в покос,
Где протоплена с вечера печка.

Поселилась душа, где отец мой и мать
Любовались со мной на закаты,
Где любил я зарю с ними вместе встречать,
На зарнице — играть в солдаты.

Где в футбол на поляне гонял сорванцом,
Помогал где с уборкою сена,
Где я с мамой мечтал, и шептался с отцом,
И не знал, что грядут перемены.

Постарел, но душой — где домашний очаг,
Где родители мне молодому
Не забыть наказали, желая всех благ,
Путь-дорожку, ведущую к дому.

ПЕСНЯ МОЕЙ МАТИ

То ли на закате,
То ли на восходе —
Дома моя мати
Песенку заводит.

На ночь колыбельну,
На заре подъёмну —
Песню неподдельну,
Песню саму скромну.

Долго ль так живали,
Да прошли лихие
Годы, и настали
Времена другие.

Уж не стало мати,
Нет, мне милой, боле —
Песни в виде пряди
Во златистом поле

Колосятся, вьются,
Косы заплетая, —
Над лугами льются,
В небеса взлетая.

Горько сердцу стало,
Но заместо мати —
Песня птичьей стаей
Кружит над дитятей.

В МАМИН ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...

В мамин день рождения
Я расскажу стишок,
Счастья и везения
Ей подарю мешок.

И радугой улыбку,
И солнечный рассвет,
И золотую рыбку —
В подарочный пакет.

Сложу всё. Нарисую
Букет красивых роз
И маму очарую
В том доме средь берёз.

Пройдя по белу свету,
Я буду помнить то,
Что лучше мамы нету
И в десять лет, и в сто.

Наталья Миронова-Чернова

г. Москва, п. Сосенское

ЕСЛИ БЫ НЕ СИНИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ...

Возвращаюсь из леса с полной корзиной грибов. Ногами, обутыми в резиновые сапоги, загребаю по земле от усталости, но добычей довольна. В очередной раз бросаю взгляд на свою тяжёлую ношу: грибочки один к одному, разложены в корзине живописно, а сверху — букетик синих колокольчиков, травинкой перевязанный.

Над лесом, за моей спиной, висит свинцовая тёмная туча. Выжидает, словно хитрый охотник в засаде. Выбирает момент поудачней, чтобы накинуть свои мокрые сети, поймав в них и нерасторопного прохожего, и бельё, забытое хозяйкой на верёвке. Забарабанит разбойник-дождь крупными каплями по крышам, стекая холодными ручейками, проникая в каждую трещинку, собираясь пузырящимися лужами на дорогах. А потом затянет серой унылостью погожий летний денёк, прикасаясь и тревожа падающими нитями ливня каждый листочек и травинку.

Подгоняемая тучей, спешу, надеясь избежать свидания с дождевой завесой. Осталось пройти одну длинную улицу дачного посёлка, а там и до дома рукой подать. Издалека замечаю у раскрытой калитки старика в инвалидном кресле и бабулечку его рядом. Как будто ждут кого-то. Поравнялась с ними, вижу — подзывает меня бабушка жестом подойти поближе, а потом негромко обращается ко мне:

— Дочка, ты из леса, поди? Не порадуешь дедушку? Грибочки посмотреть хотца. В лес-то он теперича не ходок, скучает больно...

Подхожу с улыбкой, корзину старику протягиваю, а он только этого и ждал. Живо поставил ивовую плетёнку себе на колени и давай большими проворными руками грибы перебирать, перекладывать с места на место. Который понра-

вится больше других, осмотрит, понюхает, крякнет одобрительно. Как дитё малое с игрушкой, о которой давно мечталось.

Букетиком залюбовался, на ладони своей покачал и аккуратно снова в корзину пристроил. И вдруг вижу — капельки на колокольчиках заблестели. Я на старика глаза подняла — по его морщинистым впалым щекам катятся крупные градины слёз и с подбородка прямо на цветы капают.

Защемило сердце грустью. В этих блестящих, искрящихся слезинках, в их прозрачности отражалась чистая и светлая душа старика. Такая живая, не затерянная, не засохшая. Сорванные нежные цветы начали вянуть — обмякли без воды и лежат распластанные и беспомощные, как будто слёзы старика и их наделили немощью.

Очень хотелось порадовать дедушку, и я решила отдать грибы и букетик из леса. Отнекивался, сопротивлялся. Вижу, совестливый старик, тех нравов. Как ни увещевала я его, как ни уговаривала, поняла, что не одолею дедушку, но букетик взял.

Напоследок заглянула в его влажные глаза цвета синих колокольчиков — добрые и чистые. И увидела в них первый серебристый снег, нежные голубые незабудки, затерявшиеся в траве, лёгкие пушистые облака, плывущие туда, на запад, в сторону заката, неизбежного, неотвратимого, всегда приходящего...

На подходе к дому меня настигли сети охотника. Я сдалась в плен добровольно и безропотно. Поставив корзину на землю, подняла к небу ладони, собирая в них капли дождя. В мыслях крутилось: если бы не синие колокольчики... Не обращая внимания на холодные ручейки, стекавшие мне за шиворот, на промокшую насквозь одежду, подставив дождю и лицо, я спрашивала себя: ведь чувствовать — это счастье?!

Эта недолгая встреча со стариком, нечаянная радость, виновницей которой оказалась я, не выходили у меня из головы. Букетик цветов — такая малость — стал недосягаемой роскошью для дедушки в инвалидном кресле. Выходит,

я богатый человек... Я поделилась своим богатством со стариком, и он открыл мне свою душу. Подарил взгляд, наполненный искренней благодарностью, который буду хранить в памяти, как талисман. Чистым истоком заступил он в мою душу, неся некое преображение, разлившееся удивительным теплом и добрым светом.

Если бы не синие колокольчики...



Денис Минаев

г. Коломна, Московская область

МЕДИЦИНА – ЭТО СИЛА

Моему деду Василию Ивановичу посвящается...

Июнь 1935 года в Оренбуржье выдался обычным, не очень жарким. Однако с двадцатисемилетнего ветеринара Василия Позднякова пот лил ручьём.

На врачебной ниве он трудился уже более пяти лет, работу свою любил и выполнял с огромным удовольствием, поэтому, когда началась горячая пора — массовый отёл, — почти круглыми сутками находился на пастбище или ферме...

Егор Захарыч, обычно бодренький и вечно куда-то спешащий старичок, сегодня еле передвигал ноги. Отрешённо ступая по толстому слою пыли, покрывшей дорогу, он направлялся к ферме. Было раннее утро, но солнце уже хорошенько прогрело воздух, и восьмидесятипятилетний дед в ушанке и телогрейке абсолютно не вписывался в эту летнюю картину.

— Ох ты, мать твою за ногу, что ж так зябко-то? — недоумевал Захарыч и ещё больше запахивал на себе одежду.

Так, потихоньку поругивая всё вокруг, старик добрался до ветеринарки и, тяжело ступая, поднялся по лестнице крыльца. Полусонного Василия он застал в кабинете сидящим за столом и разбирающим кипу бумаг.

— Здравствуй, доктор, — проскрипел дед и снял шапку.

— И тебе не хворать, Захарыч. Ты чего такой? — приглядел ся к нему Василий. — И зачем здесь?

— Так, похоже, как раз и захворал я. Ломота в костях, да знобит что-то...

— Ну тогда тебе врачу показаться не мешало бы.

— Вот я и пришёл по твою душу. Врач ты или хрен с бугра?

— Я ветеринар. Я животных лечу, Захарыч. Коней, коров... Понимаешь?.. Тебе к человеческому доктору надо, — попытался объяснить Василий.

— Какая, к шу́ту, разница? Все мы божьи создания. Я к тебе за помощью пришёл, лекарств каких-нибудь дай, и по́лно. Я ж не остограммиться прошу. Хво́рый я, слышишь?

— Ты ж не болеешь никогда, — заёрничал ветеринар. — Сам говорил. Да ещё и медицину на чём свет стоит костерил. Поди, самогоночки холодной шмякнул, Егор Захарыч. Она-то тебя и заморозила.

— Ты, Василий, это... на святое не замахивайся. Можешь вылечить — лечи. А нет — так не́ча тут попусту зубоскалить. Пойду домой. Авось Господь приберёт. Отмучаюсь...

— Ладно, всё-всё, — осёк его ветеринар, мысленно ругая себя за невнимание к старику. — На-ка вот, держи, — протянул деду градусник. — Вставляй в подмышку.

Дед с интересом принял стеклянную палочку и стал запихивать её в означенное место.

— Захарыч, ну как ты его... Да нет же... — Василий, поднявшись со стула, взял градусник у деда и сам вставил его куда и как полагалось. — Посиди чуток... Вон в уголке... Извини, я пока попишу. Всю ночь не спал, а мне ещё журнал заполнять. Сам понимаешь...

— Может, пять капель накапаешь, доктор? Сказывается мне, хворь-то как рукой снимет. А? Спиртик-то завсегда припрятан у тебя где-нибудь...

— Та-а-ак, Захарыч...

Старик, понимая безрезультатность своей просьбы, на полусогнутых скрылся за дверью:

— Нет так нет. Пойду, подымлю на крылечке... Охохошеньки, мать моя женщина... — выругался он в пустоту...

Спустя пару минут в кабинет вбежала доярка Павлина. Сбившаяся на один глаз косынка, взлохмаченная прядь волос, горящее багрянцем лицо придавали ей образ пирата в юбке, что вызвало у ветеринара невольную улыбку. Однако веселье моментально улетучилось, когда Паша заголосила:

— Василиваныч, там Зорька телится!.. — и скрылась за дверью.

Доктор вскочил со стула и, схватив необходимые инструменты, вылетел из кабинета вслед за дояркой, не замечая никого и ничего...

Прошло три дня. Работы у Василия слегка поубавилось, но он по обыкновению засиделся в кабинете до восьми вечера, заполняя бумаги.

Тут раздался нерешительный стук в дверь.

— Да-да, кто там? Входите, — пригласил ветеринар.

В проёме появился Захарыч и, улыбаясь во все оставшиеся зубы, прошагал к столу:

— Вот, Василий, спасибо тебе, — старик протянул завёрнутый в платочек градусник. — Очень хорошее лекарство — эта твоя стекляшка. Правда, неудобно немного с ней, каждую ночь приматывать к руке пришлось. Но ничего, терпимо... Зато это лекарство твоё шибко мне помогло! На второй день похорошело, а сегодня вообще огурцом себя чувствую. Кстати, про огурцы... тут у меня... вот... — и дед водрузил на стол несколько молоденьких огурчиков и пол-литра первака. — Давай махнём по граммульке за медицину твою. Верно гутаришь: медицина — это сила. Мать её так!..

29—30.10.2015
г. Коломна Московской обл.

Фаина Нестерова

г. Чайковский, Пермский край

ДЕТИ ВОЙНЫ

Я не бежала. Я летела на крыльях. Само безразмерное счастье несло меня на руках. Вот сейчас я отошлю родителям телеграмму, в которой будет только два слова: «Я — студентка!!!»

Первый день в институте. Вот с этой группой мне предстоит пройти интересный жизненный отрезок пути длиной в пять лет. Что ждёт нас впереди? Кто эти молодые люди? С кем из них я буду дружна? Каждый из нас с любопытством оглядывает присутствующих в аудитории. Большинство — девушки. Юношей что-то совсем маловато. Один облачён в солдатскую форму.

Наш «классный руководитель» теперь будет именоваться куратором группы. Он представился: Юрий Аркадьевич Пиявский. Не молодой, но и не старый. Наверно, лет сорока пяти. Приятной внешности. Как оказалось, один из многих репрессированных интеллектуалов, сосланных в наши края из самой столицы, о чём мы узнали, конечно, позже.

А пока наш куратор с улыбкой осматривал свою разношёрстную группу и погружал нас в предстоящие проблемы нашей студенческой жизни. Оказалось, что многим из нас, точнее сказать — большинству, нужно было общежитие, т.к. местных оказалось только семь человек. Благо, что проблем с общежитием не было.

После того как Юрий Аркадьевич ответил на все наши вопросы, а мы — на его, он объявил нам, что мы начнём свою студенческую жизнь с работы на колхозном поле. А именно — с копки картофеля и уборки овощей. Это никого не удивило, т.к. в те времена (а это был 1958 г.) и студенты, и все трудящиеся регулярно помогали колхозам.

Месяц жизни в колхозе дал нам очень много. Мы перезнакомились, хорошо узнали друг друга. Уже здесь закладыва-

лись основы нашей студенческой жизни. Складывались тесные группочки по интересам и симпатиям. Не было такого, чтобы горожане чем-то «прессовали» сельчан. Группа была очень дружной.

Мы просто не могли быть недружными. Нам всем довелось родиться накануне войны. Детство наше было безрадостным. А у некоторых не просто безрадостным, а трагичным. В группе было три детдомовца: Валя Перминова, Лёша Ващенков и Миша Косолапенков.

Валя росла в местном детском доме. А вот Лёша с Мишей были с оккупированных территорий. Они оба были абсолютно слепыми. У Миши ещё не было по локоть правой руки. Поезд, на котором увозили людей от войны, попал под обстрел. Пострадавшего, израненного трёхлетнего Мишу подобрали санитары. Так он оказался в детском доме. А Лёша, как очень многие мальчишки, пострадал от найденного снаряда, когда ему было десять лет.

Все пять лет мы им помогали. Составили график посещения наших трудолюбивых, жаждущих получить образование сокурсников. Детдомовцы, как и мы, тоже жили в общежитии. Общежитие — это особая страна. Нас в комнате было пятеро: Зоя (кореянка), Резеда (татарка), Валя (удмуртка) и нас двое русских — Люся и я. Словом, полный интернационал. Общежитие было деревянное, двухэтажное, с печным отоплением.

Дрова сырые, печка дымная.
Картошки запах у плиты.
Поели досыта картошечки
В мундире. Дивной вкусноты.

На общей кухне мы готовили свою скромную еду. Обедали мы в институтской столовой. Неизменное меню: супчик, котлетка с пюре или оладьи — и компот. Это когда ещё не была израсходована стипешка. А бывало, что и просто — чай с хлебом. Благо, что (помните?) хлеб в столовых был бесплатный. Спасибо Хрущёву!

Одеты мы все были очень скромно: родители наши были рядовыми тружениками, «строителями коммунизма», тоже

не видавшими кудрявой жизни. Поэтому мы не знали никакой зависти. Нам просто казалось, что все живут одинаково.

На вечер выпускной бежали мы,
Секреты на ухо шепча,
В отцовских брюках поизношенных
И платьях с мамина плеча.

Вспоминая сегодня эти годы, думаешь: какими мы были, несмотря ни на что, счастливыми!

Но сегодня, накануне праздника Победы, хочется вспомнить о моих сокурсниках, жизнь которых была жестоко перепахана войной. Это Лёша и Миша, оставшиеся инвалидами, навсегда потерявшими зрение, но блестяще окончившими вуз. И не один!

Юморист и оптимист Лёшка! Высокий, стройный блондин с тонкими музыкальными пальцами. Ох, как лихо он играл на баяне... Шутник невероятный. Потеряв зрение, будучи учеником третьего класса, он прекрасно помнил буквы и мог в перерыве между лекциями написать на доске крупными буквами что-нибудь смешное. Он знал, в отличие от Миши, потерявшего зрение в трёхлетнем возрасте, что трава бывает зелёной, цветы — синими, жёлтыми, красными. Он помнил, он это видел!

Но сейчас и ему, как Мише, многое приходилось «видеть» руками. Однажды на переменке, услышав наши девчоночьи разговоры, он подошёл ко мне и говорит: «Фая, ну что уж за талия у тебя такая? Можно потрогать?» Под общий хохот он обследовал, что требовалось.

И рядом с неунывающим, всегда весёлым Лёшей пять лет в одной связке был серьёзный, неулыбчивый Миша, погружённый в какой-то свой, не изведанный нами мир. Всё это время замечательные ребята, как сиамские близнецы, были неразлучны.

Вся наша группа очень внимательно относилась к ним. Мы помогали чем могли и как могли. У каждого из нас была какая-то своя изюминка, которую мы дарили своим подопечным. Ребята пользовались своими книгами для невидящих.

Добросовестно записывали лекции, пользуясь системой Брайля.

На экзамены они всегда шли первыми. Кто-то из нас заводил их в аудиторию, подводил к столу, где лежали билеты. Ребята сами вытягивали билеты, а мы сопровождали их до места, садились рядом, зачитывали им вопросы. Наши подопечные всегда знали материал лучше нас. И мы частенько этим пользовались. Сидишь рядом и чего-нибудь выспросишь. Выгодный «бартер».

И Лёша, и Миша были влюблены в наших девочек. По какому принципу они делали выбор, оставалось для нас тайной. Ведь мы обычно любим глазами, хотя бы для начала. А тут — что-то совсем другое. Что? Голос? Интеллект? Запах? Влюблённость так и осталась влюблённостью. Не более.

Жизнь текла своим чередом: сессия за сессией, год за годом. И вот мы уже на пятом курсе. Серьёзно готовимся к госэкзаменам. Где-то за три месяца до экзаменов группу повергло в шок: Миша пришёл в институт с запахом спиртного! У нас в группе такого не наблюдалось. Был, правда, у нас Сашка Фадеев, который мог выпить, но чтоб в институт заявиться в таком виде — это исключено.

Грянул гром с ясного неба! У Миши нашлись РОДИТЕЛИ. Мы все плакали. Пройти через такие муки: бомбёжка, тяжёлое ранение, потеря зрения и руки, детдом, пять лет учёбы без поддержки родных и близких... Осталось несколько дней до вожделенного диплома. Прожита, считай, четвёртая часть жизни, в которой не было ни одной родной души. Родители считались погибшими. И вдруг такое! Да как тут не напьёшься?!

Оказалось, что студент не из нашей группы, знавший историю жизни Миши и предположительное место его рождения, будучи летом в Таганроге, сделал объявление в местной газете, что Косолапенков Михаил разыскивает родителей. Так, на всякий случай, не надеясь ни на что, написал. А вдруг? Сделал и успокоился. Уж если столько лет прошло, казалось бы, всё давно мхом поросло.

Оказывается, Мишу стали искать. Сомнение вызывала только фамилия. Потерянным был Миша Косолапенк**О**,

а наш Миша был Косолапенк**ОВ**. Но, как выяснилось, настоящая его фамилия была именно Косолапенко!

Полусумасшедший от происходящего Миша поехал на встречу, всё ещё не веря в случившееся. Деревня, в которую он добирался, находилась недалеко от Таганрога.

Как жаль, что Миша не мог видеть людей, пришедших его встретить. А встретить его пришли жители всех окрестных деревень. Плакали все.

Оказалось, что у Миши живы оба родителя и сестра.

P. S.

Как сложилась судьба детдомовских детей, детей войны?

Валя успешно вышла замуж, преподавала русский язык в средней школе. Воспитала сына и дочь, но очень рано ушла из жизни.

Алексей остался жить и работать в Ижевске. Женился на красавице Шурочке, которая родила ему двух детей. Работал председателем общества слепых. Получил 4-комнатную великолепную квартиру и растил двух детей. Рано ушёл из жизни.

Михаил вернулся на родину. Получил дополнительное образование логопеда. Женился, имел сына. Тоже рано ушёл из жизни.

Что ни говори, а детдом — он и есть детдом. И ВОЙНА...

ПОЦЕЛУЙ С ТОГО СВЕТА

Дорогой Василий Евгеньевич, сегодня день Вашего рождения. Каждый год мой перекидной календарь напоминает мне о днях рождения (и смерти, к сожалению) дорогих мне людей. Вот уже очень много лет Вас нет в живых. Я уже успела перерасти Ваш возраст: Вы слишком рано и неожиданно ушли в мир иной.

Неужели были когда-то эти счастливые студенческие годы? Кажется, прошла целая вечность. Разыскивая нужную мне фотографию однокурсницы, случайно нашла новогод-

нюю открытку, которую Вы послали мне в глухую провинцию, куда я, как декабристка, поехала за мужем, окончившим сельскохозяйственную академию.

Вот тут и нахлынули воспоминания. Второй курс историко-филологического факультета. Вы пришли к нам читать курс истории средних веков. С первой лекции мы все поголовно прониклись к Вам огромным чувством уважения и симпатии. Нам нравилось всё: Ваша интеллигентность, манера держаться, глубина лекций, очень необычное отношение к студентам. Вы не торопились, как другие преподаватели, во время перерыва быстрее уйти из аудитории. Вы с удовольствием общались с нами как с равными, вникая в суть всех наших проблем.

Прошла целая жизнь, а я как сейчас вижу Вас стоящим за кафедрой, на которую Вы положили руки и обхватили её уголки своими красивыми руками с длинными музыкальными пальцами. Вы видите, что мы рады встрече с Вами. Ваши очень добрые голубые глаза осматривают аудиторию, и начинается волшебное действо — лекция, уносящая нас в далёкое прошлое.

Сегодня, предавшись воспоминаниям, я решила посмотреть, нет ли о Вас материала в интернете. Как же я была удивлена, обнаружив богатейший материал о нашем любимом профессоре, о Ваших многочисленных трудах, об огромном вкладе, сделанном в нашу науку. Окончив институт, утонув в работе и семейных заботах, я не удосужилась поинтересоваться Вашей жизнью и достижениями. Простите! Да ведь и интернета не было тогда.

И вот спустя многие десятилетия я нахожу в интернете информацию: «Доктор исторических наук, профессор Вильгельм Евгеньевич Майер — выходец из крестьянской семьи. Он посвятил почти всю свою сознательную жизнь истории немецкого крестьянства.

Почти сорок лет В. Е. Майер работал в Удмуртском государственном педагогическом институте, преобразованном в 1972 году в университет. Здесь он прошёл путь от ассистента кафедры всеобщей истории до заведующего этой кафедрой и до проректора университета.

Незаурядные научные способности сочетались у В.Е. Майера с редкими личностными достоинствами. Это был человек добрейшей души, всегда готовый откликнуться на просьбу о помощи, скромнейший труженик, лишённый и тени тщеславия, самоотверженный исследователь, излучавший доброжелательность ко всем честным людям» (Из работы Ю.Л. Бессмертного «Средние века», выпуск 49, 1986 год).

Ваш авторитет, Василий Евгеньевич (а Вас в институте все звали так, наверное, это было привычнее нашему слуху, чем Вильгельм Евгеньевич), для студентов был на недосягаемой высоте. Ваши лекции отличались безупречной мерой академизма и популярности, страстностью и отточенностью речи.

Но в письме сыну Вы пишете: «Всю жизнь меня преследует боязнь начать какое-нибудь дело. Перед каждой лекцией я страшно волнуюсь. Встреча с большой аудиторией для меня мучение. Как выхожу из этого положения? Тщательно готовлюсь. Говорят, в Оксфорде лектора за 15—20 минут до начала занятий запирают в отдельное помещение и охраняют его, чтобы не сбежал. Мне тоже каждый раз хочется сбежать».

Зная Вас, в это трудно поверить. Перед нами всегда был уверенный в себе, сильный, познавший все тяготы жизни человек.

Дорогой Василий Евгеньевич! Вряд ли кто-то из моих сокурсников именно сегодня вспомнит о Вас: прошла вечность, очень многих уже нет в живых. Да и кто всю жизнь помнит дни рождения своих бывших преподавателей? Но здесь особый случай.

Уж так получилось, что каким-то краешком судьбы Вы присутствовали в моей студенческой жизни. Я чувствовала, что Вы относитесь ко мне с какой-то особенной нежностью. Вся группа знала об этом, и если мы поздравляли Вас с каким-то событием, подарок (хорошую книгу) должна была вручать я.

Когда приближалась сессия, все готовились очень тщательно: стыдно было выглядеть беспомощным перед уважаемым и любимым профессором. Надо мной подшучивали: «Тебе нечего бояться. Пятёрка тебе обеспечена».

Но я не была зубрилкой и ботаником, не очень усердствовала. Зато было очень неловко, когда однажды я «поплыла»

на Вашем экзамене, плохо зная второй вопрос в билете. Заметив, что я тону, Вы сказали: «Достаточно». В зачётке стояла оценка «хорошо». Конечно, незаслуженно. Ох, как было стыдно!

Всякий раз на семинарских занятиях у группы было любимое развлечение — в перерыв, когда Вы выходили из аудитории, девчонки бросались к преподавательскому столу и торопились открыть Вашу рабочую тетрадь (вот ведь нахалки!). Они знали, что там увидят новые рисунки. Это были мои портреты. «Файка! — кричали они. — Иди сюда». Поля Ваших записей пестрели множеством набросков.

Конечно, мне льстило такое внимание, но, будучи скромной провинциальной девочкой, я всегда чувствовала неловкость и стеснение в Вашем присутствии. Все пять лет Вы незримо были где-то рядом, хотя на старших курсах у нас уже не было Ваших лекций. На третьем курсе я вышла замуж, а на госэкзамены шла за руку с маленьким сыночком. Вы всегда интересовались моей жизнью. Это было приятно.

В какое же удивительное время мы жили! Какой непорочной и чистой была наша молодость... Мне было двадцать лет, а Вам, дорогой мой человек, — всего сорок! Но мне тогда казалось, что между нами временна́я пропасть. И с Вашей стороны ни намёка на что-то!

И всё-таки Ваши чувства, Ваша нежность догнали меня! Это случилось пять лет тому назад.

После обычного спокойного дня ложусь спать, но глубокой ночью просыпаюсь от страстного поцелуя. Трогаю рукой влажные от поцелуя губы. Смотрю по сторонам, не вижу никого, но я ПОЧЕМУ — ТО определённо знаю, кто здесь только что был. И знаю ещё более определённо: это был не сон.

С днём рождения!

Геннадий Перминов

г. Кулебаки, Нижегородская область

СТАРУХА

Улицы нашего небольшого городка, как рассказывала моя мама, раньше были засажены высокими пирамидальными тополями вперемешку с зарослями сирени. Но тополя стали обрезать, и они пошли вширь, обрастая ветвистой кроной. Весной, когда лопались почки, по городу плавал густой и терпкий запах распускающейся листвы, который, перемешиваясь с буйно зацветающей сиренью, создавал более утончённый аромат.

Мне часто вспоминается стандартная панельная пятиэтажка с облупившейся штукатуркой, окружённая покосившимися сараями, скрипучие качели и, наконец, Его Величество Двор — место наших постоянных игр и сборищ. В углу двора стояли мусорные контейнеры, и управдом — здоровенная, краснощекая Марь Ванна, строго следившая за порядком на вверенной ей территории, — открывала их в определённые часы два раза в день, а затем вновь тщательно их запирала.

Но особенно отчётливо я помню одну, очень холодную, зиму и Старуху, настоящую, живую, как будто вышедшую из мультфильма.

Именно так её называли взрослые и дети. Она вселилась на первый этаж одной из первых жильцов, но откуда она появилась и как её зовут, наверняка знали только начальник паспортного стола да управдом. В гости к ней никто и никогда не заходил, только обычно раз в неделю появлялась женщина с двумя большими сумками и, побыв немного в таинственной квартире, так же молча исчезала.

Зимой и летом Старуха ходила в ободранных войлочных сапогах, протёртой почти до дыр плюшевой жакетке и малиновой вязаной шапочке.

Мы, дворовые сорванцы, побаивались и при её приближении обычно прятались за сараями. Но появлялась она редко,

точнее, два раза в день — тогда, когда Марь Ванна открывала контейнеры.

Старуха выходила на полчаса раньше, усаживалась на пенёк от спиленного тополя и маленькими, глубоко посаженными глазками из-под нависших бровей зорко следила за жильцами, которые с вёдрами и пакетами спешили избавиться от мусора. Как только содержимое очередного ведра опрокидывалось в контейнер, Старуха вскакивала и, шаркая ногами, спешила к своей вотчине. Она суетливо разбирала остатки пищи, отдавая предпочтение кускам хлеба и обглоданным куриным косточкам, тщательно убирала всё найденное в карман и, воровато оглядевшись вокруг, исчезала в недрах нашего обширного двора. Мы сгорали от любопытства.

— Слушай, а чего это она объедки собирает, может, ей покушать нечего? — с затаённым придыханием в голосе спрашивал меня мой дружок Ванька.

— Подойди да спроси, — я внимательно следил за Старухой, вытаскивая из кармана смятую папиросу, которую накануне стащил у отца. Мне было уже двенадцать лет, и я, естественно, считал себя взрослым.

Наконец мы решили проследить за Старухой и, как заправские сыщики, направились за ней, маскируясь за деревьями. Разгадка оказалась на удивление простой.

В дальнем углу нашего двора росли густые дебри шиповника — настолько густые, что даже мы, мальчишки, обходили их стороной. Посередине этих колючих кущ была вытоптана площадка со столиком и двумя лавочками по бокам, на которой в тёплое время года с утра до вечера галдели местные выпивохи, а с наступлением холодов площадка пустела, но столик сквозь облетевшие кусты был виден очень хорошо. Сюда и направлялся объект нашего пристального наблюдения.

С немалым трудом продравшись сквозь колючие заросли, Старуха подошла к столику и начала доставать из карманов объедки, раскладывая их на почерневшей, изрезанной ножиками поверхности стола. И, как по мановению волшебной палочки, стали слетаться птицы. Мы затаились, боясь пошевелиться, и во все глаза смотрели на происходящее. Первыми прилетели воробьи и, совершенно не боясь Старухи, шустро

сновали у неё между руками, собирая мелкие крошки. Затем подлетели вороны и, важно расхаживая по столику, выбирали куски покрупнее, а сильными клювами они разбивали мягкие косточки и не торопясь клевали их.

Одна ворона нахально села к ней на плечо, и Старуха кормила её прямо с рук. Галки, голуби, были даже два снегиря... Старуха, не обращая ни на что внимания, разговаривала с птицами о чём-то своём, ворковала с голубями, которые ходили у её ног. Наконец мы вышли из ступора и осторожно пошли домой, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного.

Так продолжалось каждый день, до самой весны. А весной, когда снег уже почти сошёл, Старуха пропала, и от женщины, которая приходила к ней, мы узнали, что она лежит в больнице.

Кучкой, сидя за сараем на солнцепёке, мы бурно обсуждали это событие.

— Ну, птицам сейчас есть что поклевать, а вот к Старухе в больницу надо бы сходить! — авторитетно заявил Стёпка, самый старший из нас, и ловко сплюнул через выбитый передний зуб.

— К кому ты пойдёшь! — разозлился я. — Мы ведь даже не знаем ни её имени, ни фамилии!

— Надо бы Марь Ванну спросить! — пропищала шестилетняя Валька. — Сейчас она выйдет контейнеры открывать, и я спрошу! — и Валька скрылась за углом сарая. Однако через минуту она показалась вновь и, как рыба, беззвучно открывая рот, широко размахивала руками.

— Там... там! — девчонка наконец справилась с волненьем и закончила уже спокойнее: — Там Старуха сидит!

Мы выскочили из своего укрытия и действительно увидели свою необычную знакомую, сидящую на обычном месте.

Всё было по-прежнему — она набрала объедков и не торопясь направилась в угол двора, а мы так же украдкой направились следом. Всех нас интересовала одна мысль — прилетят ли птицы, ведь Старухи не было почти месяц.

Она с трудом продралась сквозь кустарник с уже набухшими почками и, подойдя к столику, остановилась, с изумлением оглядываясь. Вся поверхность стола и площадка вокруг были

усыпаны позеленевшими от времени кусками, разноцветными тряпочками и яичной скорлупой, а на лавочке сидели три вороны и настороженно смотрели на неё. Старая женщина постояла минуту, а затем, озарённая внезапной догадкой, тяжело опустилась на скамейку и закрыла лицо руками. Вороны, переваливаясь, подошли к ней вплотную, а одна, помогая себе клювом и крыльями, ловко забралась к Старухе на плечо и, смешно изогнув голову, тихонько пощипывала тыльные стороны ладоней, меж пальцев которых текли струйки слёз.

Несмотря на свой ещё довольно детский разум, поняли и мы, но по-своему поняли, что птицы, очевидно, собрав своё птичье собранье, решили, что у их кормилицы кончилась еда, и они постановили отблагодарить её, натаскав всевозможных, с их точки зрения, деликатесов.

Старуха плакала навзрыд. Вторя ей, тоненько заскулила и Валька, а когда Стёпка успокаивающе положил руку ей на плечо, она вытерла слёзы и начала решительно пробираться сквозь кусты.

— Бабушка, бабушка! — девчушка робко тронула её за колено. Ворона при этом не улетела, только неодобрительно каркнула. Старуха отняла ладони от лица и с недоумением уставилась на девочку.

— Бабушка, пойдём, я тебя домой провожу! — Валька уже смелее взяла её за руку и потянула за собой. Старуха встала и неожиданно улыбнулась, сверкнув белизной зубов, из её глаз полилось невидимое, но явно осязаемое нами тепло, а когда она сняла свою шапочку и пригладила чёрные, без единой сединки волосы, то мы увидели, что не такая уж она и старая.

— Не такая я и старуха, как вы считаете, а зовут меня Анна Фёдоровна, — ровным и неожиданно бархатистым голосом произнесла она.

— А меня Валя! Пойдёмте, Анна Фёдоровна, я вас провожу, а то здесь кусты колючие! Но вы не бойтесь, я первая пойду и сделаю вам тропинку! — Валька отважно ринулась вперёд, кружась и приминая ногами жёсткие, колючие прутья.

— Ну пойдём, Валя! — Анна Фёдоровна легко шагнула следом и, улыбаясь своим мыслям, направилась за рыжеволосой девчонкой к подъезду.

Георгий Петров

г. Москва

От автора

Эти истории, случившиеся в моей семье, разделяют тридцать лет.

Мимолётное знакомство в Москве в 1968 году двух иногородних выпускников школ, которое переросло в семейную жизнь длиной в три с половиной десятилетия, удивительным образом перекликается с другой встречей, произошедшей в Сибири, на лесозаготовках, когда познакомились мои родители.

Не один год я просил отца написать о своей жизни, он всё отмахивался и говорил, что «грамотёшки маловато», чтобы выполнить мою просьбу, пока в конце концов однажды не протянул мне школьную тетрадку, исписанную его совсем не молодой уже рукой. В воспоминаниях отца я обнаружил множество подробностей, о которых он никогда мне не рассказывал. Это было открытие! Мне оставалось лишь слегка пройтись по рукописи, чтобы привести его слова в соответствие с грамматическими нормами нашего языка...

Представляю читателям обе истории из жизни. Истории, которые свидетельствуют о том, что главные ценности человека во все времена укладываются в три слова: Труд, Любовь, Семья.

НАПИСАНО ОТЦОМ

Его рассказ о своей жизни

Я родился в 1921 году 7 апреля. Родители мои были Петров Григорий Антонович и мать Петрова Ирина Григорьевна. Семья наша была большая — 10 человек. Родители приехали в Сибирь, в село Тасеево, в 1915 году из Пермской области Соликамского уезда, по родове мы — пермяки. Сколько в Тасеево помню себя, нас все звали Пермяковы, а когда малень-

кий был, так на улице Пашенной так все и дразнились: Пермяк-Солёны-Уши. Злился я всегда, как слышал оскорбление.

А уж когда вырос да в армию пошёл служить, мне один грамотный командир, сам тоже из тех мест, разъяснение дал правильное и простое. Пермяки — народ крепкий, приземистый, а вот грамотёшки совсем не было, и работать могли они больше на соль-приисках грузчиками — на баржи соль в мешках носили, на спине. Ну вот, как кинут мешок на спину, а соляная пыль-то и трусилась на волосы да на уши. А работа тяжёлая, жаркая, народ-то вспотевший работает, а пыль эта соляная уши-то и разъедает. Во, командир мне показывал, ровно красные фонари делались уши-то. Не то что болели, а разбухали. Вот тебе и солёные уши у пермяков — красные, значит, вздутые. Так исстари и повелось.

И ишшо мне командир так говорил, что пельмени — слово пермяцкое, обозначает «хлебное ухо». Пермяки первыми такое блюдо из теста наловчились делать, а когда заворачивали его — вот и получается пель-мень (ушко — «пель» значит, а из хлеба — «мень» по-пермяцкому).

Вот, значит, пермяки мы. И ты, выходит, пермяк по моей крови. Жили мои родители бедно, угол у кого-то снимали, батрачили, недоедали. Это в первую, германскую войну ишшо, когда не родился я. Трудно было жить. Так, мать, Ирина Григорьевна, жалилась, что её дочери то есть болели и все умерли, и братья, почитай, все умерли. Нас тока трое осталось братьев. Так самого старшего брата Николаем звали, при Колчаке убили. Пошёл он утром рано по воду в белой рубахе на Усолку, его посчитали за разведчика, вот и подстрелили. Потом и я уже родился на свет, Алексеем назвали, а брата мать моя всё его помнила — в честь него Николаем меня покрестила. Остались мы у матери два сына, Федот да я, только что родившийся.

Тасеево наше при Колчаке почти всё сожгли. Дома стали новые рубить. И в центре, и за Балчугом, и вдоль Пашенной улицы, где мы жили — ты, сын, помнить должон — заново строить всё стали. И мы тоже. Я тогда был совсем малым пацаном — без штанов летом бегал, в рубашке такой длинной — да все тогда так бегали. Взрослые были отец с братом моим

Федотом. Он рождения был 1908 года, ему уж почти двадцать лет было, жениться думал, вот и решили дом срубить, пятистенок. Отец на мельнице тогда работал, пшеницу молол. Дом построили, брат женился, жить стали лучше. Сначала лошадь купили — Серуха звали, земли было 10 десятин — это как гектар, десятина-то, но поменьше. Потом вторую лошадь завели, Рыжка, занимались своим хозяйством. А тут отец мой в 1929 году умер от тяжёлой трудовой работы. Остались мы вдвоём с матерью — у Федота ведь уже своя семья сделалась — с Фёклой он поженился.

А мне тут в школу пришлось идти. Одежда была плохая, валенок своих не было, рубашки были холщовые, зимой — и штаны такие же.

Больше помню не школу, а то, как у нас коммуну в селе сделали. Столовая там была, и я ходил туда кушать. Мне давали поесть, мама ведь моя в коммуну тоже записалась.

Урожай с огорода и с поля мы с матерью убирали, изредка соседи ей помогали, а когда и работников нанимала, чтобы убрать. Всё зерно сдавали государству, в общий котёл — коммуна же была. Потом мать моя сдала землю, колхозы стали образовываться. Она сильно работать уже не могла, пасла овец от населения.

В 1933 году у нас коллективизацию сделали. В Тасеево образовалось три колхоза. Первый колхоз — имени Ленина, потом колхоз «Красный партизан» и третий колхоз — «Группа партизан». Так назывались потому, что почти все записавшиеся туда в партизанах у Яковенко были, когда с Колчаком воевали. Его ещё «кулацким» называли. У нас даже кобыла старая была с прозванием Яковенчиха. Уж не помню, почему её покрестили по фамилии партизанского командира в «кулацком» колхозе.

В колхозе «Группа партизан» и мать моя работала. Она совсем уже изработалась, сторожихой была в колхозной конторе, даже комнатку ей дали.

До 1936 года я учился, в комсомол вступил, работать стал в колхозе. Зимой возил корм на колхозную ферму, летом в посевную боронил на лошадях. Обувь была очень плохая, даже приходилось босиком боронить. Но был ударником, пе-

ревыполнял норму, премию получил 10 рублей. Потом работал прицепщиком на ХТЗ — колёсный такой трактор, а после и на ЧТЗ был прицепщиком — это уже гусеничный трактор. Осенью молотил хлеб на молотилке. В колхозе «Группа партизан» были три бригады, я работал в 1-й бригаде.

Молодёжи в те годы было очень много, было весело жить. На трудодни мы получали хорошо — 5—8 кг на трудодень. И деньгами нам оплачивали — 2 руб. на 1 трудодень. Колхоз наш был передовой во всём районе.

Помню, как в 1938 году вернулся из заключения Дмитрий Семёнович Тараканов, партизан при Яковенке, но его арестовали, когда колхозы стали делать, а он с другими бывшими партизанами, которые с Яковенкой были в партизанах, не согласился. Сказал, что с Колчаком воевали не за колхоз, а за свободную крестьянскую жизнь и работу. А когда вернулся, всё равно в колхоз пошёл работать — единоличных хозяйств уже не стало.

Вот том же году, в 1938-м, меня как комсомольца направили на лесозаготовки. Мне уже 17 лет было, и поехал я с другими парнями в деревню Никольскую, за Михалёво, лес валить. Снега было много, глубокий он тогда был. Чтоб до дерева дойти, надо было дорогу проторить да яму вокруг дерева сделать, чтобы пилить. Лес возили ближе к берегу реки Она, которая в Ангару впадала, чтобы весной сплавлять.

И вот тогда я с девушкой познакомился, Тамарой, матерью твоей, получается. Она тоже на лесозаготовках была, из другого колхоза, который в Сухово организовали. Вблизи я её сначала не видел, но сразу полюбил. Такая она была красивая, черноглазая, с бровями чёрно-соболиными.

Я и думать о ней боялся. А тут так получилось. Она на неделю уехала домой погостить, а я остался. Потом мы на неделю уезжаем, а они навстречу. Я им и кричу: «Поехали с нами!» — а сам на неё смотрю, глаз оторвать не могу. Она смеётся, не соглашается. А когда она засмеялась, я совсем в неё влюбился — уж такая красавица-раскрасавица...

Вот возвращаемся мы на лесозаготовки. Как-то вечером лежу в бараке на нарах, печалюсь о ней. А старшие ребята, увидев такое дело, сказали: «Знаем, по ком сохнешь!»

Выскочили из барака и приводят её ко мне за руки. Она чуть не плачет. Тут я соскочил с нар, со злостью крикнул им: «Отпустите девчонку!»

Оказалось, зовут её Тамарой, она в Сухове жила с отцом и двумя сёстрами — в 1934 году из Курской области, от голода, привёз их отец Платон Пашнев. Тоже была бедная семья, они без матери росли.

Надумал я на ней жениться. Толком не знал, как это, но чтоб она была рядом. Вернулся с лесозаготовок — и у матери разрешения спрашиваю. Мол, жениться хочу. Она со старшим своим сыном Федотом отговаривать стали: рановато, дескать, в 17 лет-то жениться. Но я им сказал, что Тому сильно полюбил и всё равно женюсь. Мы с Медовым Сергеем, бригадиром, и поехали её сватать. Отец её, Платон, старенький уже был, он ведь четверых дочерей один поднимал — жена его давно умерла, в 1921 году, когда Тамаре два года было и когда я только родился.

Приехали мы в Сухово, замёрзли совсем, морозы сильные были, еле в санях доехали. А Тамара сначала отказала мне. Дескать, молодой ещё. И смеётся. Посидели, поговорили. Отец у неё строгий был, неторопливый, рассудительный. Спрашивает, что по хозяйству могу делать, кто у меня мать, как живём. Слушает и снова спрашивает. В общем, дал своё согласие, а дочери сказал, что мать у меня старенькая, хозяйство надо помогать вести.

В общем, через сколько-то дней сделали мы вечер небольшой, стол как могли накрыли для своих и стали с ней жить в Тасеево.

Она мою мать сильно полюбила, и мать её тоже, считала её своей дочерью — у неё-то все дочки, мои сёстры, поумирали.

Весной 1939 года в мае началась посевная кампания, я уже был учётчиком в 1-й бригаде и работал конюхом на полевом стане. В бригаде было весело. Тракторная бригада находилась на полевом стане. Это был не шалаш, полевой стан был красивый, крестовый дом из деревни Хандалы перевезли разобранный, а там собрали. Было два больших поднавеса, два амбара, столовая была, конный двор очень хороший. Воду из колодца качали помпой, и она по желобкам текла

в долблённые из лиственницы такие колоды, из которых лошади и пили. Все, кто работал в бригаде, ночевали на полевом стане, по субботам ездили в село в баню, а утром в воскресенье — обратно. Кто на подводе, кто пешком приходил. И снова за работу.

Мы с Тамарой вместе работали — она боронила на лошадях. Как кончилась посевная кампания, все бригады снова в село. Женщин направляли на раскорчёвку леса для расширения полей. Особенно весело женщины и девушки домой возвращались. Ехали на подводах. Каждая женщина везла домой детям какой подарок, гостинчик. В начале лета это жарки наши — их в то время было очень много, и как уж земляника и другая ягода поспеет, то веточки с ягодами. Всегда с песнями, хорошими такими. Услышишь — душа радуется.

Готовились к сенокосу, который начинался в первых числах июня. Вся молодёжь и пожилые мужчины тоже заготавливали сено для зимовки скота. Работали на сенокосилках, ребята помоложе сено гребли на конных граблях, а мужики постарше — копнили. Каждая копна весит 1 центнер, потом надо было заскирдовать всё сено, а тут уже надо было готовиться к хлебоуборочной страде. Инвентарь ремонтировать, конные жатки, а в МТС ремонтировали комбайны.

Хлебоуборочная кампания начиналась в августе. Тут уж урожай убирали все, кто мог на работу выйти. Рано утром обходил все дома, где жили из нашей бригады, стучал в окно и звал на работу. Женщины и девушки вязали снопы за жаткой. Были и настоящие стахановские работники — Федот и работницы, которые вязали по тысяче снопов. В том числе моя жена Тамара была стахановка в красной косынке. Им давали за хорошую работу подарки — красные косынки. И снова работа — с раннего утра до позднего вечера.

После уборочной кампании всегда в колхозе делали праздничный вечер в колхозной конторе, а то и на полевом стане. Так было весело! Вся молодёжь и пожилые люди пели, плясали под гармошку, водили хороводы.

Осенью 1939 года меня послали учиться на председателя ревизионной комиссии в районную сельхозшколу. Она была в том здании в центре, где райисполком. Окончил я её

успешно. После отчётного года делал ревизию в колхозе. Так и шла наша жизнь.

И семейная жизнь тоже продвигалась. В 1940 году в мае у нас прибавилась семья. Жена Тома родила мне сына. Я был такой радый, что родился сын! Крестили его — попа домой приглашали, это мама захотела, и назвали его Колей.

Лето прошло, а тут осенью — призыв в Красную армию. Мне так сильно хотелось идти в армию служить, что даже расхотелось в колхозе работать. Выписали мне повестку, и вот нас собрали на Ёрче. Меня провожали моя жена Тома, брат мой Федот. Мать мне в дорогу сварила индюка и хлеба булку положила в котомку, да и соль, и луковицу.

Сыну моему Коле было 6 месяцев. Жена с ним осталась, как мы грузиться стали в машину, а мать моя с Федотом поехали с нами, кто призывался, до второго бугра. А уж там и распрощались.

Когда нас привезли в город Канск, всех построили и направили строем к железнодорожному вокзалу. Повезли нас в вагонах-телятниках, как сейчас называют, на восток. Ехали мы туда 5 суток.

Прибыли на станцию назначения в воинскую часть в Приморский край, станция Шмаковка, высадили нас там, несколько призывников, остальные дальше поехали. Нас встретили с духовым оркестром, и вот прибыли в воинскую часть. Сделали нам санобработку, подстригли, повели в баню. Потом дали военную форму, и мы тогда не могли узнать друг друга. Обмотки дали вместо сапог, и они разматывались, мы же не умели их правильно наматывать.

Потом был у нас воинский карантин, изучали устав рядового солдата на воинской службе, а уж после началась нормальная служба.

Прослужили мы полгода, а тут Германия войну вероломную начала против нашей страны. Потом шла война, шло время, а гитлеровцы всё наступали, захватывали наши города и сёла. Конечно, там, на фронте, трудно было, да и нам доставалось, хоть в боях мы не участвовали в первое время.

Мы слушали сообщения Информбюро, как немцы убивают наших солдат и командиров, население в тех местах,

которые захватили. Наша Красная армия несла потери, хотя и немцы много потеряли своих солдат. Нам тоже хотелось попасть на фронт, идти в бой, защищать свою Родину, но на востоке тоже было напряжённо: Япония готовилась напасть на Советский Союз. Но у них ничего не получилось.

Вот 9 мая был день Победы над Германией, наши солдаты дошли до Берлина и победили.

А у меня сердце рвалось домой. Мать моя совсем уже старенькая и больная была и умерла в 1942 году. А узнал я об этом ещё позже, потому что в соседней части был ещё один Петров, только из Троицка, но тоже Тасеевского района. Так первое письмо от Тамары, что мама моя умерла, я не получил, а отдали ему. Какой ему интерес читать чужие письма? Хоть вернул бы, когда прочитал, а то мне Тамара уже со второго или третьего раза сумела сообщить, что мать моя Ирина Григорьевна умерла.

А тут поступил приказ начать войну на востоке с Японией. Я служил в то время вторым номером пулемётного расчёта МСС-2 — в Шмаковке <...>, в укрепрайоне в Гродеково, и мы перешли границу. Нам мало пришлось повоевать. Заняли мы несколько городов, где японцы были, а это ведь Китай был. Батальоны наши бросали на штурм пулемётных дотов, где японцы сидели в бетонированных таких гнёздах. Наших там много полегло.

Дошли мы до города Хабей, станция Мудаэдзян. Тут наше командование объявило Японии капитуляцию, и японские солдаты и офицеры капитулировали, — и наш укрепрайон вернулся на свою землю, на свои позиции. После мы ждали приказа Верховного командования об увольнении из рядов Советской Армии.

За боевые заслуги меня наградили медалью «За победу над Японией», и в 1946 году был опубликован приказ насчёт демобилизации тех, кто родился в 1921 году. В июне приехал я до города Канска, потом 150 км ехал на попутных машинных до своего района, села Тасеево. Меня уже ждала моя любимая жена Тома и сынок Коля, которому было уже 6 годиков. Жена моя встретила хорошо и обняла меня крепко,

и я её тоже обнял, потом сыночка взял на руки, стал его целовать, дал ему гостинцев фронтовых.

После все соседи узнали и пришли меня поздравить с победой и посмотреть меня, какой я пришёл с фронта. Многие из моих друзей не вернулись домой, погибли на войне, женщины-солдатки плакали, что они остались вдовами. Потом моя жена Тома накрыла на стол, сели мы за стол, и соседи с нами отметили тогда победу и мой приезд.

Немного отдохнул я, пошёл работать в колхоз рядовым колхозником. Во время хлебоуборочной кампании я отгружал хлеб от молотилки и возил с подтоварника хлеб в Заготзерно. За трудодень 8 рублей. Потом меня выбрали бригадиром 1-й бригады, когда ты уже родился в 1947-м, и в 1948 году я собрал хороший урожай пшеницы с площади 120 гектаров — по 22 центнера с гектара, за что меня представили к правительственной награде. Получил орден Ленина. В 1949-м орден вручили, депутатом сделали, а потом и третий сын у нас родился, твой, получается, брат, Володя.

Проработал я три года бригадиром полеводческой бригады, и в 1952 году меня направили в краевую сельскохозяйственную школу по подготовке председателей колхозов и агрономов. Тогда я вступил в кандидаты КПСС и один год проучился. Экзамены после первого года не сдал, грамотёшки было маловато, всего 4 класса образования, а в с/х школе надо было иметь грамоту за 7 классов.

Не стал я больше учиться. Пригласил из Тасеево жену Тамару город посмотреть. Она всё охала да ахала и сказала, что ради сынов наших надо переезжать в город. Страшно было — всё дома бросить и начинать новую жизнь, где никого мы не знали. А всё ж таки перевёз свою семью в город Красноярск, стали помаленьку жить.

Да, вспоминаю такой случай, был в 1952 году, летом, перед тем как Тамаре приехать. Договорились мы с мужиками, с кем учился, подкалымить, разгружать баржи на острове Молокова. С острова Отдыха надо было переходить протоку. Часто там ходили, а тут я попал в глубокую яму и чуть не утонул. Тут меня спасли ребята, которые плавали по протоке на лодке.

Как перевёз семью, устроился работать в Главторсырье в 1953 году и проработал там до 1960 года. А первое время в Красноярске мы жили у Фёклы, жены Федота. Он на войне погиб, а она в военные годы с дочками-близняшками из Тасеево в Красноярск уехала. Девчонки Лида и Зина работали на эвакуированном номерном заводе имени Ворошилова, жили они в комнате в бараке на 1-м участке, недалеко от Нефтебазы, а вот согласилась же принять всю нашу семью — мы с женой Тамарой да трое сыновей. Да и как она могла не согласиться — брат же я был её мужу Федоту.

Вот всю нашу семью временно приютила Фёкла с дочками, а потом приняли на квартиру в Первомайском посёлке на улице Лермонтова Сендерские. Семья у них была еврейская, но не жидовская, и к нашему положению с пониманием отнеслись, взяли на год на квартиру.

Работал в Главторсырье. Стыдновато было утиль собирать, ведь я был орденоносец в колхозе, да делать нечего, надо было копейку зарабатывать на семью, тянуться сколько было сил.

В 1961 году устроился работать на стройку — в Красноярске строительство домов началось большое. Пошёл я в СУ-14 в трест Красноярскжилстрой-1, потом в СУ-16, но уже Домостроительный комбинат № 1. Бригада у нас была знаменитая бригадиром Михаилом Ивановичем Евдокимовым, много раз нашу работу по телевизору показывали.

Семья у нас была, я уже написал, 5 человек. Чтобы сыновья не остались без пригляда, моя жена Тома работать не пошла, мы с ней так решили, вела всё по хозяйству да сыновей растила, а я как мог деньгами обеспечивал.

Сын Коля был призван в Советскую армию в 1959 году, а двое сыновей учились в школе. Ты, Гоша, тогда учился в 5-м классе, а младший Володя во втором. Сын Николай окончил военное училище в Хабаровске, стал офицером по ракетной части, а ты, средний, школу-семилетку оканчивал в те годы, был председателем пионерской дружины, два знамени получил на слётах. Как кончил 11 классов, пошёл в наш политехнический институт, как я тебе наказал, работал и на стройке, и на заводе, а всё писать в газету хотел.

Немного в маленькой газете, где про шофёров писали красноярских, проработал. Да и в «Красрабе» публиковался. Уж потом он поступил учиться в МГУ, журналистом стал. Мама твоя гордая была, и я тоже.

Я на стройке проработал 15 лет и в 1976 году, когда мне исполнилось 55 лет, ушёл на пенсию. Младший сын Володя к тому времени после службы танкистом в ГДР тоже поступил в МГУ, как и средний наш сын, учиться на журналиста стал, поженился прямо в МГУ и работает теперь в городе Сочи.

Дом в Первомайском посёлке, который мы купили на улице Малой Гвардейской, потом снесли, нашей семье дали квартиру на 5-м этаже на улице Гастелло, рядом с ДК «Сибтяжмаш».

Так мы остались вдвоём с женой продолжать свою старческую жизнь. Мне в 1981 году сделали тяжёлую операцию в мае, а в августе у моей жены Тамары заболела левая нога, положили её в больницу, лечили ногу, потом перевезли в другую больницу на улице Горького. Пролежала она там 3 месяца, и ей сделали операцию на брюшной полости в октябре. После операции она прожила 14 дней, и 14 октября умерла. Не от операции, а от штуки такой тромбовой, которая у неё в ноге наросла в кровеносном сосуде на левой ноге, а потом оторвалась и сердце уже через 2 недели после операции перекрыла. А левую ногу она повредила летом 1950 года, когда ехала на велосипеде, уже беременная младшим нашим сыном, её сбила машина и колёсами придавила велосипед и её левую ногу.

Ушла из жизни моя милая жена, остался я один жить...

ОНА И ОН

Давняя история, которая началась в День кино

ОНА приехала из Средней Азии и сдавала вступительные в Архитектурный. Ей не хватило пары баллов, и она с горя бродила по Москве, пока у входа в Парк отдыха не наткнулась на афишу о премьере фильма со странным названием «Доживём до понедельника». Афиша обещала присутствие

артистов, которые снялись в той картине. Она увидела «В. Тихонов» и другие, менее знакомые ей, фамилии актёров и актрис и купила билет, чтобы подсластить безотрадные и одинокие дни небывалыми впечатлениями: вживую увидеть кинозвёзд, а потом в письме маме, сестричке и папе всё подробно описать. Пока брела по аллеям по стрелкам, показывающим дорогу к Зелёному театру, вспомнила, что с утра ничего не ела, и купила себе мороженое в хрустящем стаканчике.

ОН в третий раз штурмовал Ленинские горы, в смысле — Университет. Его факультет был напротив Кремля, через Манеж. Во дворике старого здания университета стояли по углам два невзрачных памятника печальным людям, давним выпускникам Университета. В Москве эту улицу звали Моховой, но он, приехав когда-то сюда в первый раз и выйдя на Ярославском, искал в центре «проспект Маркса», как было написано в «Справочнике вузов СССР». Теперь экзамены были позади, на два балла он превысил проходной и мог запросто отдать, если кому надо. Он не уехал в родной город на Енисее, а стал ждать зачисления на высоком этаже «зоны В», куда его поселили для сдачи экзаменов. В день премьеры нового фильма он ходил по центру, предвкушая пять лет в этом городе, который сразил его с первой встречи.

ОНА родилась после войны на золотодобывающем прииске за Ангарой. Её отца туркмена Бердыкурбана освободили из лагеря заключённых, но дали «поселение» без права уехать — пусть перевоспитывается! — на родину, которая у него была на границе с Афганистаном и где после ареста в 1937 году он оставил молодую жену с двумя дочками. На таёжном прииске его взяла на постой русская семья, в которой было три взрослых дочери и вполне взрослый сын. Глава семьи, потомок ссыльных из Польши Марк Яковлевич, был призван в первые дни войны, и совсем скоро его жена получила извещение о том, что он «пропал без вести». Ей надо было думать, как девчонок поднять. А этот ссыльный Бердыкурбан, а по-простому Борис, хоть и нерусский, был непьющий, работящий, даже чистоплюй, если сравнить

с другими вчерашними заключёнными — уж жена погибшего насмотрелась на всяких! По хозяйству поможет, за квартиру будет платить, подумала она. Но никак не могла представить себе, что через три года станет ссыльному туркмену тёщей. Он всё смешил младшую, необычно выговаривая русские слова и рассказывая о небывалых фруктах, которые растут в его краях, и о непонятных для русских обычаях — у мужчины, например, могло быть две и больше жён. Потом, когда она забеременела, сказал, что она будет ему жена. Деваться было некуда — иначе стыд-то какой на всю округу, говорила её мать, если без женитьбы рожать от вчерашнего заключённого! Так и появилась на свет будущая абитуриентка Архитектурного. Отчество ей на прииске записали «Борисовна», имея в виду Бердыкурбана, а в строчке «отец» поставили прочерк.

ОН родился в 1947 году прямо в родном доме — речка, впадавшая в Ангару, по весне снесла мост, за которым был роддом в его селе. Через положенный для этого срок после возвращения его отца с войны против японцев. Отец прослужил в армии с 1940 года, а взяли его в армию, когда жена была беременна, и первенца она родила спустя три месяца после его призыва, в мае 1940-го. Ей досталось хлебнуть лиха — на руках не только малолетний сын и старенькая, больная свекровь, но и хозяйство — дом с коровой, курами, и работа в колхозе «без никаких» — время-то военное! А зимой, когда не было работы на полях, так с лопатой — на подтоварнике или с пилой и топором — на лесозаготовках. Мать, так ждавшая ЕГО рождения, решила назвать второго сына Толя — по созвучию с именами мужа и первенца — Коля. Но жившая по соседству сосланная интеллигентная латышка разъяснила ей, что всех русских, кто родился в начале мая, правильнее (по святцам то есть) называть Георгиями или Юриями. Относившаяся с громадным пиететом к образованным людям, его мать назвала второго сына Гошей, а в метрике, как полагается, записали: «Георгий». Главное — в уголке этой метрики было дано распоряжение в промтоварную лавку: «Выдать 15 м мануфактуры». На пелёнки и распашонки, как и полагалось.

ОНА сидела на своём месте Зелёного театра на сиденье из деревянных брусков в короткой своей чёрной юбочке, безрукавной кофточке в горошек и удивлялась, почему в таком хорошем и важном для всех городе, как Москва, погода бывает такая неуютная, прохладная, а не тёплая и комфортная для живущих в ней и приезжающих. Это же СТО-ЛИЦА! — всей нашей страны. Она глянула на часики. До начала киновечера было ещё полчаса. Почти никого в этом огромном театре — только на некоторых местах были первые зрители. Настроение у неё немного улучшилось по сравнению с тем, какое было во время бесцельного плутания по Москве. Хотя она ещё была удручена неудачей (что написать своим родным, которые отправляли её в Москву так, словно её поездка — это последняя надежда на хорошую жизнь в будущем?), но уже грелась тем событием, на которое ей сегодня посчастливилось попасть.

ОН, в очередной раз чертыхнувшись на остановившиеся свои часы, решил не рисковать, и хотя на нередких в парке громадных циферблатах стрелки показывали достаточно времени до начала, по указателям побрёл в сторону Зелёного театра. И получил подтверждение, что костюм надел не зря — от реки уже потянуло прохладой. В его родном Красноярске вечера всегда были прохладными, пригодился пиджак и здесь. Высматривая своё место, когда поднимался по ступеням, он ещё не знал, что сегодня его тёмно-зелёный пиджак, купленный почти три года назад на первую его зарплату на стройке, сыграет главную роль в этот Вечер кино.

ОНА увидела, что по проходу идёт худоватый, да ещё в очках, парень в костюме тёмно-зелёного цвета. Точно такого, какой был у брюк большинства её сверстников — коренных жителей в родном городке, а потому сразу у неё возникла к идущему неприязнь. Тоже мусульманин, что ли?

Как те наглые и бесцеремонные узбеки, которые на улицах норовили при удобном случае схватить своими грязными лапищами за грудь девчонок — но только не своей национальности: трогать можно было других, русских. В школу и из школы ей с подругами приходилось идти с портфелями, крепко прижатыми к груди. Такие гады!

Её раздражение, конечно же, не относилось к Назыму. От воспоминаний её накрыла тёплая волна. Он был с ней нежен, ласков, одевался чисто, всегда был наглажен и вёл себя аккуратно — правильно, у него же мать была русская.

Кто же этот? Волосы почти чёрные, прямые, чёлка почти такая же, но на узбека или туркмена не похож. Больше на татарчонка, подумалось ей, — такие в Узбекистане тоже есть... В пиджаке, а без галстука — на Праздник кино пришёл! А очки... очки-то у него изолентой голубой перемотаны у стёкол! Мог бы и новые купить, между прочим.

ОН поднимался по проходу и продолжал смаковать своё состояние покорителя Ленгор, мысленно переносился в родной город, представлял своих родных и знакомых. Главное — свою маманьку, которая, он знал, переживала за него больше, чем он сам.

Зато после каждого экзамена с Главтелеграфа он отправлял на её имя телеграмму об успешном преодолении очередного барьера. А после четвёртого отважился после слова «Четвёрка ВСКЛ» добавить: «Я тире студент Московского университета ВСКЛ ВСКЛ ВСКЛ». Эти три «ВСКЛ» были оправданием трёх его попыток поступления в МГУ.

Его ряд оказался там, где сидела какая-то девушка, по-восточному красивая, скромная, в кофточке в горошек и с длинными чёрными волосами, плавно струившимися по её плечам. Прохладно, а она без тёплой кофточки, какие по вечерам всегда носила его мама в Сибири. Наверно, предположил он, она спортсменка, закалённая, и ей не холодно.

ОНА удивилась, что пришелец от прохода свернул на тот ряд, где было её место. Она поджала ноги, чтобы он, чего доброго, не наступил на её беленькие лодочки, купленные мамой втридорога для выпускного вечера, где ей вручили золотую медаль. В её городке, на полпути от узбекского Термеза до таджикского Душанбе, они жили с того года, когда её отцу разрешили уехать из Сибири.

Туда Курбанберды попал за то, что в тридцатых ходил в Афган. Хоть это делалось по заданию НКВД, его в 1937-м арестовали — как английского шпиона. Не приняли в расчёт и то, что он был активным комсомольцем и очень любил но-

вую власть. А когда, благодаря Хрущу, Курбанберды объявился в родных местах с русской женой и двумя дочерьми, его осудили все родственники — вместо того, чтобы обрадоваться и удивиться, как он там выжил, в Сибири-то? Осудили и перестали с ним знаться, потому что двух его дочерей от первой жены пришлось растить тёткам (жена не пережила его ареста и рано умерла), а он привёз не просто вторую жену, а иноверную!

Зелёный костюм проплыл перед её глазами, но его владелец осторожно, стараясь не коснуться её колен своими, не пошёл вдоль по ряду, а — опустился на сиденье рядом с ней! Она была готова увидеть в соседях кого угодно, только не этого в зелёном пиджаке! А когда она боковым зрением увидела на лацкане значок с изображением незнакомого ей города, она совсем расстроилась: тоже издалека! Не москвич...

ОН осмотрелся. На рядах Зелёного театра пришедших было немного. Большинство сидели по одному, как хотелось и ему. А тут — вот те раз, соседка. Юбочка, правда, отглаженная, коленки держит аккуратно, ладонями потирает зябнущие, наверно, руки — от плеч до локтей.

Он ещё раз похвалил себя, что не поверил обещанным по радио градусам, а пошёл по Москве в пиджаке, сообразуясь с погодой, которую он почувствовал, распахнув утром окно на 21-м этаже высотки.

Так, до начала вечера ещё много времени. А сколько? Он повернулся к соседке, извинился и, ткнув на свои вышедшие из строя часы, спросил, который час. Когда она ответила, он неловко предложил ей накинуть на её плечи свой пиджак.

ОНА ответила надутыми губками, и он по их надутости и интонации голоса понял, что она недовольна соседством с ним. Потому что даже не взглянула на него. Русский у неё был хороший, и это удивило его: кругленькая щёчка и восточный глаз, которые он увидел на её профиле, обещали акцент, а его у соседки не было. В Москве он привыкал всё меньше удивляться тому, что в его Сибири было бы поразительным. Наверно, у неё мать нерусская, а отец — русский, и выросла она где-нибудь здесь, в России, решил он, и потому так хорошо говорит на нашем языке.

ОН сразу не пошёл за ней, когда она решилась уйти задолго до окончания этого киношного вечера. Просто она на половине фильма, который был тоже не очень весёлый, совсем запечалилась, ей было одиноко, неуютно, нетепло в этой Москве с её, Москвы, несправедливым к ней отношением: она же золотая медалистка! Жалко было расставаться только с пиджаком. Она спускалась по проходу и думала: мог бы и проводить! Правда, она больше думала не о нём, а о тёплой накидке — пиджаке. Она вспомнила, как он, промямлив что-то, предложил ей свой пиджак и после её согласия осторожно опустил ей на плечи, прижав волосы. Он был в рубашке с рукавами, застёгнутыми на пуговки, и ему было не так уж холодно. А когда соседка вздумала уйти и выскользнула из пиджака, он не поспешил за ней следом, а остался глазеть на огромный чёрно-белый экран, где дальше и дальше разворачивалась история отношений двух учителей. Главного героя играл артист Тихонов.

ОНА тоже успевала взглядывать на экран, осторожно ступая вниз. В Тихонова запросто было влюбиться, как и сделала молоденькая учительница. Вот это мужчина! Не то что этот её недавний сосед, который остался, как прилипший, на своём месте. И даже не пошёл проводить. Вот если бы здесь был её Назым...

Она вспомнила его поцелуи, их прощание, когда его призвали служить танкистом, его скупые строчки в письмах без марок, которые она изредка получала на К-31, напротив Архитектурного, и едва не заплакала.

Чем ниже она спускалась по проходу к сцене, тем прохладнее становилось — река-то была рядом, за экраном. А там показывали учительскую, все много и раздражённо говорили. Она чуть обернулась назад и вдруг заметила, что недавний её сосед, поблёскивая стёклами очков, пробирается по проходу. За ней?

ОН пошёл за ней, потому что посчитал себя ответственным за неё, хотя никаких обязательств на него никто не возлагал. Между ними за полтора часа сидения рядом на таком большом столичном событии возникло нечто общее, что не выра-

жалось словами, но было закреплено тем, что она без куража приняла предложенный им пиджак и мило поблагодарила. А потом надолго замерла, согреваясь под нехитрой одёжкой, и с недоумением призналась себе, что она благодарна этому странному соседу с очками, дужки которых замотаны изолентой.

ОНА, снова облачённая в пиджак неприятного цвета, захотела отблагодарить его и сказала, что сегодня они попали на премьеру очень хорошего фильма, правда же, спросила она его, и добавила, что совсем не жалеет, что купила билет сюда. Она ещё спросила, где он покупал этот билет, и очень удивилась, что совсем в другом месте, а они оказались рядом. Они прошли мимо старинной беседки на набережной парка и полюбовались на обилие отражённых в воде огней. Такой красивой Москву они ещё не видели, признались они друг другу.

ОН узнал её невесёлую историю и, чтобы не хвастаться своим поступлением, сказал, что ждёт зачисления, но не уверен, что его примут. Он уже знал, что она приехала из Средней Азии, и очень удивился, когда она назвала место своего рождения. Мысленно прикинул по карте своего края и понял, что они родились километрах в двухстах друг от друга с разницей в три с половиной года. Он рассказал о первом своём приезде в Москву и вспомнил свой последний день в том году.

В универмаге «Добрынинский» в отделе продаж телевизоров он посмотрел финал мирового первенства по футболу между Англией и Федеративной Германией. Немцы тогда проиграли 2:4, и с этими впечатлениями он возвращался в Красноярск.

ОНА вспоминала свою школу, рассказывала о семье, но не решилась рассказать о Назыме. Сказала, как любит песни Пахмутовой, и очень обрадовалась, когда он прочёл ей несколько стихов Роберта Рождественского, а потом целую поэму Василия Фёдорова про композитора Бетховена. Про себя она решила, что согласна, чтобы он проводил её до автобуса, но больше встречаться они не будут. Не могла же она общаться с юношами, ведь это было бы

равносильно измене своему любимому, который нёс сейчас военную службу, а она тут проводит время в развлечениях.

Она ещё не знала, что Назым уже не один вечер проводил с дочерью заместителя командира части, где служил, и не менее успешно осваивал с новой знакомой виртуозные поцелуи, которым он год назад обучал под южными звёздами будущую школьную золотую медалистку.

ОН в Москве ориентировался тоже не очень, но твёрдо решил проводить свою нежданную землячку до дома, где она остановилась — у совсем дальних знакомых. Это были дети тамошних, по Сибири, знакомых её матери, которых в войну эвакуировали за Ангару, потом они вернулись в Москву.

В благодарность за доброе к ним отношение в сибирских краях они написали из столицы несколько писем на далёкий прииск, потом, после переезда её родителей в Среднюю Азию, обмен письмами и поздравлениями к праздникам продолжался. И не прекратился со смертью родителей, а продолжился — уже с их детьми. Тем более что дети тоже были в эвакуации с родителями, только в малом возрасте, и внезапно рвать отношения с бывшими земляками они не стали.

Вот у них она и жила в эти августовские дни, а автобус до их дома ходил от метро «Белорусская».

ОНА на эскалаторе сказала ему фразу, которую он, будь он раздражённым, а не благодушно настроенным, воспринял бы очень резко. Она сказала ему, что вот сейчас они поднимутся наверх, попрощаются и больше встречаться не будут. Ему было непонятно, почему они должны расстаться. Он же не претендовал на отношения, большие, чем доброе знакомство, — тем более что они земляки по рождению! Он старался её не обидеть ни словом, ни жестом, даже не прикоснулся к ней и позавидовал пиджаку, который обнимал её плечи. Себе он не позволил даже представить, насколько сладки её красивые губы, как гибка её талия, теплы или прохладны её колени, чем пахнут её тёмно-каштановые (оказалось, не чёрные!) волосы. Она же продолжение своего знакомства считала предательством по отношению к Назыму. Она ещё раз твёрдо сказала себе, что она не такая, чтобы встречаться с молодым человеком, когда любимый так далеко и ему так труд-

но. Она должна ждать его, как бы невыносимо это ни было.

ОН, чтобы увести её от категоричности, спросил, не согласится ли она посмотреть завтра списки зачисленных. Сил на это уже не осталось, вполне серьёзно сказал он.

ОНА согласилась, потому что посмотреть списки не было изменой Назыму. Главное — потом больше не встречаться. Захочет, чего доброго, целоваться. А у неё от поцелуев... Нет, ни за что она не станет поддерживать отношения с этим соседом по кино, оправа очков у которого неисправна! Она будет ждать из армии Назыма.

ОН безропотно сопровождал её, когда во время прогулок по Москве — уже в сентябре! — ей надо было зайти на К-31 и «до востребования» получить письмо с обратным адресом: «В/ч». А писем не было, потому что советские танкисты из ГДР в августе того года поехали в Прагу, и она выходила с почты со словами «Противный мальчишка, мог бы и написать», которые произносила своими надутыми губками. Слова адресовались Назыму, но плохо было её сопровождающему, словно это он не написал вовремя письма. Может, именно из-за неполучаемых писем она больше не гнала нового знакомого прочь от себя, и погода в тот тёплый сентябрь согревала их в бесконечных воскресных прогулках.

ОНА решила остаться в Москве — мама в письмах настояла — и поступила в строительное профтехучилище, мечтая заниматься на подготовительных в Архитектурный и подтянуть рисунок, на экзамене по которому недобрала баллы. От знакомых она съехала в общежитие на Ангарской улице — тогда почти окраина Москвы. Там же удавалось перекусить, оттуда она по воскресеньям ехала, как на важное дело, на метро «Парк культуры», где её всегда ждал с цветами её новый знакомый, с которым, кроме разговоров, у неё ничего не было: он был совсем стеснительный.

ОН погрузился в студенческую жизнь и всё реже вспоминал ту, которая объявила его зачисленным в университет. Но в многомиллионной Москве они внезапно встречались. Случайно. То на той же станции метро «Парк культуры» он, возвращаясь из аудиторий на Моховой, вдруг

у распахнувшейся двери увидел её на платформе и шагнул к ней, оставив в полном недоумении своих однокурсников, с которыми ехал до станции «Университет». То на выпускном курсе он, сойдя с попутчицами из 111-го автобуса на остановке среди берёз, перед высоткой, оставил их на тропке и, швырнув на весенний снег портфель, помчался вперёд, вдруг признав в одинокой фигуре свою землячку и знакомую, которая в редкие свободные часы любила приезжать на Ленинские горы погулять.

ОНА уже училась в пединституте, командовала ордой комсомольцев в том училище, которое окончила, когда встретила и проводила в родной город своего Назыма, который заморозил её на всю оставшуюся жизнь фразой о том, что она — хорошая девушка, но вместе им не быть — так жизнь распорядилась. А тут из дому пришло письмо о том, что мама серьёзно заболела, хочет быть рядом со старшей дочкой, потому что на младшую надежды нет. И она решила биться за квартиру, чтобы забрать из Средней Азии мать — конечно, с отцом и младшей сестрой. А своя жизнь — уж как получится.

ОН по окончании университета был сослан «на передовую» — поднимать районную печать родного края. Иначе, сказали ему, придётся поплатиться бордовой книжицей с буквами «КПСС». Провожать его на Ярославский вокзал не пришла ни одна его знакомая, которых в столице было несколько. Каждая знала, что он уезжает, но ни одна не спросила, когда. Может, и к лучшему. Его знакомые молодые москвички жили с мамами и бабушками без мужчины в доме, и это было опасно: его запросто могли бы извести упрёками и подозрением, что он остаётся в столице корысти ради и тем самым вытолкали бы его из своего женского мирка.

ОНА, в отличие от многих его знакомых с факультета, очень и почти близких московских подруг, писала ему письма в Сибирь, подробно излагала состояние здоровья своей мамы и между строк умудрялась рассказывать новости с фронта «битвы за комнату». Она зазвала его в гости, когда он оказался в Москве в отпуске проездом, точнее, пролётом из Сибири на Кубу по путёвке «Спутника».

ОН, после того как она показала его маме и, видимо, получила одобрение своего восьмилетнего знакомства с земляком, в шутку, под синим светом московских фонарей, предложил ей пожениться. Она ждала этих слов — особенно в последние годы. И не только от него, а произнёс он. Они расписались в «Грибоедовском» через три месяца — их не остановило даже то, что назначенный им день выпал на время Великого поста. И были «наказаны»: вскоре его выцепил военкомат, когда надо было подобрать кадры для политработы в новых частях железнодорожных войск, сформированных для строительства Восточного участка БАМа.

ОНА... В общем, она воспитывала сына. Нашего сына. Потому что она — моя жена. Потом, через 12 лет, у нас родилась и дочь. А скоро наша внучка — от старшего — уже в школу пойдёт...

Юрьевка. Февраль 2007 г.



Георгий Разумов

г. Хабаровск

ЖОРЖИК

Случилось мне пару лет моей бродяжьей жизни провести в западных районах страны, бывших под оккупацией, в одном небольшом посёлке, стоящем на высоком берегу красивой реки. Приехав на новое место, я как-то быстро познакомился с местными пацанами и девчонками, завёл друзей. Одним таким моим новым другом стал паренёк по имени Ким. Сдружились мы с ним на почве общей любви к рыбалке. Днями и ночами пропадали на речке, ловили всякую рыбу, частенько лавливали и раков, которые в тех краях были просто знатные. По большей части рыбачили с берега, но иногда нам давал свою малую лодку один мужичок неопределённого возраста, но уже за сорок, которого все в посёлке от мала до велика называли Жоржиком. Был тот дядька невысокого росту, внешность его была настолько непримечательная и невыразительная, что и вспомнить-то сегодня её просто невозможно, хотя я, как говорится, «тыщу раз» видел его в самой непосредственной близи. Единственное, что его выделяло среди людей, — это незлобивость нрава: он всегда был в хорошем настроении, много балагурил, общаясь с людьми, и буквально сыпал всевозможными присказками, поговорками и прибаутками, которые так и лились серебром из его уст. Многие из них врезались мне в память, и я до сих пор отлично их помню. Жаль только, что не могу их здесь привести в качестве примера, ибо они все изобиловали словечками ненормативного, так сказать, характера. Однако в повседневной деревенской российской жизни на таких пустяках, как мат, никто внимания не заострял, эти слова произносились как нечто такое, на чём уважающий себя человек и зацикливаться-то не будет.

Я тогда не задумывался, работал ли тот человек, да и вообще, чем он занимался, мало меня занимало, если не сказать,

что вообще не интересовало. Я только знал, что у него есть две лодки зелёного цвета. Одна побольше, другая поменьше. Кимка, как хорошо его знавший, нет-нет да и просил дать нам лодку, чтобы мы могли уйти вверх или вниз по реке, подальше от людей. Бывало, придём к нему вдвоём, заходим в калитку за ограду, Кимка прямо с ходу говорит ему: Жоржик, дай нам дня на два-три лодку маленькую, хотим вверх, в леса, порыбачить сплавать. Он эдак хитро посмотрит на нас, скажет что-нибудь заковыристое, а потом вытащит из кармана ключ от замка, кивнёт на вёсла — забирайте. Тока смотрите, через три дня штоб мне, как штык, как отставной козы барабанщик тута были, штоб я потом вашим папкам-мамкам не оправдывался да не доказывал, што не дурак, едриттвоювпонюхивкорень тебя забери! Возьмём ключи, вёсла, буркнем «спасибо» — и бегом на причал, в лодку, и «пошла писать губерния». Дома всегда знали, куда мы поплыли, никто нас не искал, и никто особо не беспокоился. Парни мы были уже вполне самостоятельные и опыт по этой части имели, как бы это поскромнее сказать, уже солидный.

Несколько раз случалось так, что Жоржик изъявлял желание сплавать на рыбалку вместе с нами. Тогда он брал свою большую лодку, а нас, как обычно, баловал маленькой. С ним было плавать гораздо интереснее. Он превосходно знал местность, знал название каждой излучины, каждого переката, каждого плёса на реке. Подходим, бывало, к плёсу под названием Михалёвский, а Жоржик каждый раз говорил: вот тута у меня, ёшкин кот, завсегда щука и язь привязаны. У дальнего края щука, а по правому берегу, ближе к омуту, — язь. Ставим сетки, стучим боталами, выбираем сети — точно, в той сети, что по дальнему краю, — щука, во второй — язь-красавец, с ало-малиновыми плавниками.

Как-то раз поплыли мы за раками. Мы с Кимом ловили их рачильнями, а Жоржик, неугомонная душа, лазил в воде и ловил их руками: суёт палец в норку, рак его за палец цап, тут-то и попался — Жоржик его на берег выкидывает. Вот так ловил он ловил, да вдруг как закричит, на все лады и бога, и чёрта, и ещё каких-то леших и кикимор поминаючи, да ещё свою непременную звезду Мессеферштейн.

Смотрим, а у него огромнейший рак впился громадной клешнёй между большим и указательным пальцем и до крови распластал руку. Подскочили, рака оторвали от нашего Жоржика, давай ему чем попало кровь останавливать. Но рака не выбросили, привезли его домой и отдали моему отцу. Он из него сделал отличное наглядное пособие для кабинета биологии в школе. Таинственная звезда Мессеферштейн так и осталась для меня таинственной. Что это такое, он нам так и не сказал, но она в его речи проскакивала практически через десять — пятнадцать слов, как и ещё какая-то непонятная «церковная тушилка».

Ночевали на берегу, у костра. Ночью в лесу тихо, только разные таинственные звуки раздаются, к утру туман опускается, роса на траву садится. Частенько в костре запекали плотву в глине, наподобие того, как делают печёную картошку. Чистили рыбу, начиняли её луком, солью, облепляли сырой глиной и клали в угли — вкуснотища необыкновенная. Пока возились с рыбой, пока ждали, когда она испечётся, Жоржик рассказывал нам бесконечное количество разных смешных случаев про немцев из жизни под оккупацией. Я не спрашивал его, где он войну провёл, но из его рассказов складывалось впечатление, что в армии он не служил, не воевал. Впрочем, честно сказать, тогда меня этот вопрос особо-то и не волновал.

Была за ним ещё одна штука, которая меня восхищала. Всем знакома малюсенькая рыбка ёрш. Колючая и костлявая неимоверно, но ловили её обязательно, потому что юшка ухи, сваренной на этих ершах, считалась особо вкусной. После варки ершей выкидывали из варева, закладывали нормальную рыбу, готовили дальше, а ершей, как правило, бросали в речку, на подкормку другой рыбы. Но так было, только когда с нами не было Жоржика. Он их не выкидывал, а собирал в тарелку, садился и ел. Ел особым, одному ему ведомым способом: закладывал ёршика в один уголок рта, что-то там делал с ним во рту, и из другого уголка губ выпадали только косточки.

Делал он это очень быстро, и ерши исчезали из тарелки — не успеешь глазом моргнуть, не Жоржик, а прямо ершеед-

ная машинка какая-то. Ел, нахваливал и всегда нам снисходительно говаривал: дескать, дурачки вы неразумные, а не рыбаки, раз не умеете самую наилучшую рыбу есть, — довольно при этом похохатывая и поминая свою звезду или тушилку, что нам за это в следующий раз и лодку-то давать не следует, потому как от нас никакой пользы на реке нету.

Так бы и остался в моей памяти Жоржик неким балагуром и человеком непонятного рода занятий, добрым, свойским, не отдаляющим нас, пацанов, от себя, взрослого мужика.

Но однажды, несколько лет спустя, я поехал в те края наведать своих друзей, и в первую очередь Кимку. Дело было в августе, захотелось мне снова, как в прошлые года, сплавать на рыбалку с Кимом в Жоржиковой маленькой лодке. Завёл я разговор про рыбалку тогда, когда мы с Кимкой сидели в избе другого своего друга, Юрки Левченко. Дома, помимо нас троих, был ещё и Юркин отец, дядя Коля. Ким в ответ на моё предложение сказал, что на рыбалку-то сплавать можно, только вот с лодкой проблема. Жоржик уже год как помер, жена его лодки продала, а новый их хозяин совсем не Жоржик, и у него их просить — что у скупердяя прошлогоднего снега.

Удивился я да и спросил, отчего же наш друг умер, ведь он же ещё не такой старый, ему жить да жить? Тут в разговор вступил дядя Коля. Он-то нам и поведал, что известный всем как простецкий мужик Жоржик — герой-партизан. Разведчик и самый знаменитый в тех краях подрывник, отправивший под откос не один фашистский эшелон. Поведал нам он и о том, что в одном из боёв был наш друг очень тяжело ранен взрывом гранаты, что ему изуродовало всю грудную клетку и что вряд ли бы он выжил, но его удалось отправить самолётом на большую землю, где ему помогли врачи. Осталась у него в наличии всего половинка одного лёгкого, всё остальное было удалено. Молча мы сидели, буквально сражённые открывшейся нам правдой. Я сидел и вспоминал наши поездки, его поведение, его прибаутки и весёлый нрав. Но теперь мне были понятны некоторые вещи, на которые я не находил ответа прежде, да если честно сказать, и внимания особого тогда не обращал. Я вспоминал, что Жоржик

никогда не раздевался, не снимал рубашки и брюки и даже раков ловил, ползая по реке в штанах, которые на нём потом и сохли. Понятно мне стало и то, что он частенько заставлял то меня, то Кимку садиться к нему в лодку и грести вместо него. Раньше я думал, что он этим просто пользовался, как хозяин лодок.

Теперь, по прошествии многих лет, вспоминая и те времена, и людей, которые меня окружали, и неунывающего Жоржика, дивлюсь я необыкновенному жизнелюбию наших людей, дивлюсь их умению запросто преодолевать трудности, их великой скромности и житейской неприхотливости, непритязательности и особой душевности.

Дивлюсь и думаю, в каком же мы все неоплатном долгу перед этими людьми, которые, если разобраться, ничего хорошего в своей жизни не видели, но были в ней людьми высшей пробы, людьми великой и, не побоюсь этого слова, несгибаемой воли к жизни, людьми героическими, при всей их внешней непрезентабельности. Честь им и слава, безвестным героям войны.

Ирина Салтанова

г. Севастополь

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ОБРАМЛЕНИИ ЛЕТ И СОБЫТИЙ

От автора

Все графы наградного листа, подписанного лейтенантом Неволиным, как и требовали правила, заполнены были полностью. Благодаря скрупулёзности штабистов спустя семь с половиной десятилетий я узнала из информации на сайте «Подвиг народа» о том, какой подвиг совершил мой отец, Салтанов Владимир Иванович.

Вот строки из того документа: «С апреля 1942 года по январь 1943 года рядовой Салтанов был стрелком 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Последнее время занимал должность зам. политрука при стрелковой дивизии. 12 января 1943 года взвод, в котором находился тов. Салтанов В. И., получил задачу штурмовать или блокировать укреплённый хутор на окраине Шлиссельбурга. После выбытия из строя командира взвода, а затем заменившего его старшины, выполнение этой задачи было возложено на тов. Салтанова. Последние остатки взвода он довёл до хутора и блокировал его, этим дал возможность просочиться другим подразделениям к Шлиссельбургу. В этом бою тов. Салтанов был ранен в левую ногу, в правую руку и контужен».

Блокада города Ленина была прорвана, мой отец принимал в этом непосредственное участие и был удостоен медали «За боевые заслуги».

* * *

Мне приснился колокольный звон — благовест. Он медленно летел над землёй, над городом, каждое яркое и продолжительное, а затем редкое звучание большого колокола

пробуждало всё живое, что есть в природе. Стрижи и ласточки не спеша начали свой медленный танец, который становился всё стремительней и изящней. Нежаркие лучи солнца вспыхивали и становились теплее, грея земли окрест.

На городских газонах поднимались травы, среди элитных тюльпанов и роз, очаровательных анютиных глазок, многоцветной петуньи и разносортных бархатцев распускались скромные полевые цветы: фиалки, васильки, ромашки. Отцветал жасмин и уступал благоухающий май сирени, раскрывавшей первые лепестки на набухших гроздях пышных кустов. Из-под ярко-зелёной кроны кустарников выглядывали веточки с гроздьями пока ещё бело-зеленоватого цвета. Сирень вскоре расцветёт всеми оттенками белого: от кремового, молочного, зеленоватого до искристо-белоснежного. Рядом распускалась сирень, оправдывающая своё название. Густой фиолетовый, голубоватый, ярко-пурпурный цвет почек на глазах становился лиловым, голубым, розовым, отчего сами грозди на ветке казались нежнее и пышнее. Вместе с нежным ароматом сирени по улицам города разливался благовест. Звук колокола будил и открывал сердца.

* * *

Сегодня великий праздник — 9 Мая. День Победы. По телевизору показывают празднование по всей стране, идут прямые включения из разных городов. Меня тревожит и не покидает какое-то неясное чувство. Я заранее заказала в церкви Поминовение об упокоении родителей. Иногда, когда забудешь помолиться или поставить в церкви свечи, обычно во сне приходит мама. Мы с ней, но она уходит от меня: то ей за хлебушком надо зайти, то за крупой. Мама как бы напоминает, что они ждут наших молитв и нуждаются в них.

Завтрак уже на столе, стынет чашка горячего кофе. Я зажигаю свечу и открываю молитвослов. Со стены из рамочки, сложенной из камушков и разноцветных стёклышек, обка-

танных морской волной, улыбаясь ясными и добрыми глазами, смотрят мои родители.

Я вдруг вспоминаю: в эту ночь мне приснился отец. Он снился мне всего несколько раз. Впервые, когда я узнала, что умершего человека обязательно надо предать земле. Кажется, перед девятым днём я заказала отпевание в церкви и завершила этот ритуал, приехав на кладбище, крестообразно посыпав его могилу землёй с панихидного стола. Отец мне приснился в ту же ночь и сказал всего три слова: «Я так счастлив». По недомыслию я приписала все заслуги нам — семье: мы одели его во всё новое, и только галстук был старый, его любимый, «трофейный», как отец шутил, помощь от американцев после войны. Позже до меня дошёл истинный смысл этих трёх слов: его душа получила пользу. А мне они дали надежду, что он удостоится войти в Царствие Небесное... Так я поверила. И через год приняла таинство крещения. Мой старенький мудрый отец оттуда подсказал мне дорогу к вере, он не оставил меня и после того, как ушёл в мир иной.

* * *

День Победы — праздник обоих моих родителей.

Отец воевал на Ленинградском фронте, имеет боевые награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», орден «Отечественная война» I степени. После окончания войны 22 июня 1946 года он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Мама, тоже участник войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждена такой же медалью и ещё медалью «Защитнику Отечества».

Сегодня корю себя: опять не сделала фотографии. Каждый год обещаю себе: сделаю! Но не успеваю... ход времени с каждым днём становится всё быстрее. И мы снова смотрим Бессмертный полк по телевизору.

О войне отец никогда не рассказывал. В детстве от мамы я узнала, что он участвовал в прорыве блокады Ленинграда и они, солдаты, ходили на лыжах и были одеты в белые маскировочные халаты, чтобы враг их не мог заприметить. Мне это было удивительно, потому что отец не был спортивным человеком, а тут ещё и с оружием приходилось совершать дальние переходы.

...Вот отец, совсем молодой, худой, бритоголовый, в колючей ворсистой солдатской шинели. Я представила, как прощаются с ним перед отправкой на фронт его мама, наша бабушка, младшая сестра Шура и Иван Федосович, завуч школы, где отец был учителем словесности. На перроне вокзала — серьёзные, в большинстве суровые мужские лица. Провожающие женщины, едва сдерживая слёзы, жмутся к своим родненьким — мужьям, братьям, отцам, сыновьям, любимым, — словно хотят отдать своё тепло, чтобы оно согревало их долго-долго и постоянно напоминало о том, как их любят и ждут дома...

Воинский эшелон стоит под парами, железнодорожные пути затянуты белёсым туманом, поезд нетерпеливо пыхтит, то тут, то там слышен перестук молотков осмотрщиков вагонов. Звучно, коротко и резко шипят тормоза, ещё немного — и дежурный по вокзалу отправится к головному вагону эшелона, чтобы открыть перед ним выходной светофор.

«Становись!» — звучит команда, когда завуч Иван Федосович что-то торопливо и одобряюще говорит отцу и на прощанье крепко и долго сжимает его руку.

Вот-вот красный сменится зелёным цветом светофора.

«По вагонам!» — протяжно и зычно звучит следующая команда, заглушаемая плачем, женскими возгласами и равномерными шуршащими звуками шагов марширующего строя красноармейцев. Поезд, пройдя узкое жерло выхода станции, набирает скорость. На север, на подмогу фронтовикам. Перед глазами отца долго стоит лицо сестрёнки Шурки, две слезинки, катящиеся в её милые ямочки на щёчках. Всегда быстрая, озорная, она притихла и, обнимая, шёпотом прощается: «Благослови тебя, Господи, брат... возвращайся живым...»

* * *

Военную присягу отец принял в 330-м стрелковом полку 86-й стрелковой дивизии 5 января 1942 года, через три дня после того, как был призван в РККА.

Разбираясь в его архивах, чтобы как-то прояснить, представить себе боевое прошлое отца, я нашла лист бумаги, сложенный пополам. Он был подписан снаружи рукой отца: «Биография». И, видимо, чтобы было понятно самому или тем, кто это будет читать, добавил слово «моя». С трепетом я открыла пожелтевший листок и стала читать написанное неровным почерком. Текст, как я поняла, был подготовлен для выступления перед школьниками, видимо, в канун 9 Мая, когда ветеранов войны приглашали в школы.

Отец писал: «Каким был блокадный Ленинград? Кто и как его оборонял? Город Ленина обороняли в едином (подчёркнуто) строю. Воины Советской Армии: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, моряки Балтийского флота. По радио звучало: мы топили, топим и будем топить фашистские корабли; сбивали, сбиваем и будем сбивать фашистские самолёты. «Убей немца», — говорили пехотинцы. Мужество, стойкость, верность партии, Родине — вот что было главным и бросалось в глаза, особенно воину-новичку. И так {думал} почти каждый воин Ленинградского фронта. Гордый город обороняли рабочие, интеллигенты, учащиеся. Молодёжь, учащиеся участвовали в сооружении оборонительных рубежей. Рабочие ковали оружие, ремонтировали его, самоотверженным трудом крепили оборону города Ленина. В сортировочный госпиталь Ленинградского фронта привозили раненых бойцов, и рабочих, и работниц. Одни были ранены на передовой. Другие прямо у станка. Интеллигенция показала себя. В. Инбер, Н. Тихонов, В. Вишневский, О. Берггольц выступали по радио, стихи, статьи в газетах Тихонова. Композитор Д. Шостакович гасил «зажигалки», дежурил на крыше. Его портрет в каске пожарного сейчас экспонируется на фотовыставках. А какие произведения они создали после войны! Разве они написали бы такие вещи, если бы не участвовали в битве за Ленинград? Конечно, нет.

Костлявой рукой голода фашисты вознамерились задушить Ленинград и Волхов, Ленинградский фронт. Голод, холод, страдания, жестокость врага — всё перенесли ленинградцы. Город выстоял. Какие были в городе кошки, собаки, рыбки в аквариумах — все были съедены. Трава косилась — всё шло в пищу... Хлеб — мука и древесина. Но каждый из нас знал, что бессмертный город Ленина — колыбель Октябрьской революции — никогда и ни при каких обстоятельствах не будет сдан врагу. Ленинград не склонит своей головы. Ленинград будет свободным, будет счастливым городом. Меня пригласили к вам как участника прорыва блокады Ленинграда. Как это было? Измотав врага в оборонных боях, бойцы Ленинградского фронта в начале января 43-го года перешли в наступление. Цель — прорвать блокаду, слиться с войсками Волховского фронта. Последняя задача была блестяще выполнена <...>»

В самом конце почерк отца стал совсем непонятным, «пляшущим», слова и мысли какими-то отрывочными, с трудом можно разобрать только начало отдельных слов. Видимо, отец, записывая свои мысли для выступления перед ребятами в школе, стал сильно переживать, вновь и вновь вспоминая и «свой бой» тогда, в 1943 году, когда получил на Ленинградском фронте тяжёлые ранения.

Читая «Биографию» отца, я уловила его настрой и почувствовала, что он запомнил свои впечатления от увиденного в блокадном Ленинграде и, побывав после первого ранения в эвакогоспитале, написал об этом вот в этих строчках: *«Мужество, стойкость, верность партии, Родине — вот что было главным и бросалось в глаза, особенно воину-новичку. И так {думал} почти каждый воин Ленинградского фронта»*.

В остальных строках «Биографии», написанной простым языком и коротко, как черновик для выступления, не было ни строчки, начинавшейся со слова «я»... Он делает упор на роль партии, хотя не был коммунистом тогда, он вступил в коммунистическую партию в конце войны в феврале 1945 года. Но, наверное, невозможно писать без пафоса, когда пишешь о настоящих героях.

Отец прибыл на Ленинградский фронт, когда кольцо блокады вокруг города было полностью сомкнуто. Ему, как и другим советским людям, жителям блокадного Ленинграда и защитникам города на Неве, военным и гражданским, нужно было выстоять, не отдать город, отбивая атаки врага, и, собрав всю волю и силы воедино, гнать эту фашистскую нечисть туда, откуда она пришла, — в Берлин. Это им, героям фронта и труженикам тыла, выпала доля, выпала честь: встать в единый строй, сражаться, защищать, бороться, потому что слово «Родина» было для них не пустым звуком. Умереть или быть убитым, быть раненым, выжить, вернуться на фронт или сделать для фронта, для победы то, что каждый из них мог сделать на своём месте. У всех защитников не было выбора: совершить подвиг в бою, или в городе, или... Они ВСЕ уже были героями там, в Ленинграде. Каждый из них знал, что может остаться живым, или остаться на поле боя, или умереть от голода и холода. И никогда не увидеть своих родных, не увидеть великую Победу! Быть может, в тех последних строчках «биографии», которые мне не удалось расшифровать, он пытался донести до нас одну-единственную мысль: они сражались за нас, отдавали свои жизни и здоровье только ради того, чтобы мы были счастливыми и свободными!

* * *

Получив на фронте множественные осколочные ранения правого плеча, спины, правого бедра и контузию, 22 июня 1942 года красноармеец 284-го стрелкового полка Салтанов Владимир Иванович находился на излечении в военном госпитале № 919, из которого выбыл 17 августа 1942 года. Подлечившись в госпитале, он возвращается в строй — на Ленинградский фронт. Но уже в январе 1943 года он снова получил в бою сквозное пулевое ранение правого предплечья с повреждением локтевой кости, лечился в эвакогоспитале № 3106 и 2 апреля 1944 года был признан годным к нестроевой службе...

* * *

Раненых во время боевых действий отправляли на санитарном транспорте на Урал, где в госпиталях долечивали их, там же выздоравливающие бойцы проходили длительную реабилитацию.

Отец не мог сидеть без дела. И, немного придя в себя после тяжёлых ранений, оставшись на Урале в городе Реж, он стал работать в редакции районной газеты «Большевик» в должности ответственного секретаря редакции. Великую Победу советского народа над фашизмом отец встретил на Урале и написал:

Шагал сорок пятый, неслись эшелоны —
Стальные солдаты в мундирах зелёных.
На каждом разъезде, на станции каждой
Героев созвездье и просто отважных,
Встречали всем миром с любовью и лаской
Бойцов, командиров со звёздочкой красной,
Врагов победивших, Родину спасших,
Мир для народов в борьбе отстоявших.
Шагал сорок пятый, неслись эшелоны,
Заждались кормильцев матери, жёны.

* * *

Родители встретились на Урале. Мамина фотография в альбоме. Я помню её такой: мягкой, улыбающейся, доброй. И хоть фото чёрно-белое, видно, что у мамы прекрасная кожа и никакой косметики на лице! Самое большее, что она позволяла себе, — подкрасить губки! Фотопортрет сделан уже позже в Севастополе старейшим фотокорреспондентом газеты «Слава Севастополя» Александром Баженовым. Родители дружили с ним.

Мама, мой светоч. Я знала о ней всё с самого раннего детства. В девять лет лишившись родителей, она стала надёжной опорой для своих старших братьев: готовила еду, стирала, убиралась в доме. И ещё был жив дедушка Иван — отец од-

ного из маминых родителей, он жил отдельно в своём доме. Мама — маленькая хозяйка — помогала и ему. Когда маме было десять лет, в её жизни случилось первое испытание: её накрыло огромной веткой упавшей вековой ели, когда она помогала братьям на лесозаготовках. Чудом осталась живой.

Мама рано пошла работать на Нейво-Шайтанский завод, который был в посёлке Сусанн Свердловской области, где они тогда жили. Маленькие оспинки на лице остались на всю жизнь от брызг горячего металла, как напоминание о причастности к рабочей династии её рода. Путёвку в жизнь маме дал Рабфак — кто не знает, это рабочий факультет, мама училась там три года. Её сокурсницы-рабфаковки носили красные косынки, дружбу с ними мама пронесла через всю жизнь. В трудовой книжке мамы — в девичестве Баевой, а в замужестве Салтановой Анны Ивановны — заполнено всего 11 страниц.

Окончив в 1939 году Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, она была зачислена в Режевскую колхозную школу директором. Во время войны работала в основном на партийной работе, самоотверженно, не жалея себя, как бы стараясь в работе утопить своё личное несчастье: в начале войны погиб её первый муж и умерла маленькая дочка. По той причине, что в городе не было нужных лекарств.

В городе Реж, на Урале, откуда мама и была родом, она познакомилась с моим отцом. В конце лета 45-го года родители поженились. Вскоре у них родился первенец, его назвали Евгением, в честь брата отца.

Пришедшие с войны бойцы восстанавливали своё здоровье в госпиталях, здравницах страны. Позже энтузиасты, которые всегда были у советского народа, начали восстанавливать разрушенные города, предприятия, инфраструктуру. Наша семья пополнилась, у родителей родился ещё один мой брат — Валерий, а потом и я. Но в нашей семье случилось горе: трагически погиб мой старший брат Женька и, видимо, от потрясений, слегла моя мама — обезножела. Наш домашний доктор Иван Михайлович вылечил маму, поднял её на ноги, а отцу посоветовал быстрее увезти семью из мест, где всё напоминало о трагедии.

Как участнику Великой Отечественной войны, отцу было предложено на выбор три города: Анапа, Севастополь, Ялта. Я даже не знаю до сих пор, кто сделал это предложение, но это было сделано с целью оздоровления красноармейца Салтанова В. И., получившего на Ленинградском фронте контузию и множественные осколочные ранения. Только не на курорт ехал наш отец: фронтовикам доверяли самые трудные и ответственные участки работы, ведь на них можно было положиться во всём.

Отец уже бывал в Крыму — в Симферополе и в Ялте. Он выбрал Севастополь. Я понимаю, почему он сделал такой выбор. После 250-дневной второй обороны город славы русских моряков лежал в руинах. Немецкие войска вошли в Севастополь ценой больших потерь в живой силе и технике, но занятый фашистами город не сдался, он продолжал бороться против оккупантов вплоть до освобождения в мае 1944 года.

После освобождения города на Сапун-горе в память о легендарном штурме и бессмертном подвиге героев обороны 1941—1942 годов был возведён двадцатипятиметровый белый обелиск, на котором возложен бронзовый орден «Победа». Этот памятник построили солдаты и матросы, освободившие город.

Мой отец был солдатом. Он сражался у стен Ленинграда. Теперь пришло его время жить, восстанавливать, созидать.

* * *

Так мечта отца — быть на передовой в мирной жизни — начала сбываться. Он уехал первым, устроился на работу в редакцию городской газеты «Слава Севастополя» на должность заведующего отделом информации. И, сняв крошечную комнату, вызвал нас. И мы с мамой и братом отправились в первое большое путешествие на поезде, проехав почти половину страны, к городу русской славы. Ранним утром после станции Мекензиевы горы мама разбудила нас: «Дети, просыпайтесь, скоро приезжаем». Мы припали к окнам. Когда поезд входил в очередной гулкий тоннель, мой пятилетний брат Валька басом приветствовал город: «Сева-сто-поль, Сева-сто-поль...»

Наши маленькие сердца радовались долгожданной встрече с папой и новым незнакомым городом. Отец встречал нас на вокзале: высокий, худой, слегка небритый.

Следом за нами прибыл багаж: мамина швейная машинка «SINGER» и небольшой кованый сундук.

«Свою» первую комнату в коммунальной квартире отец получил спустя полгода после нашего приезда. Чёрно-белая, выцветшая от времени, фотография запечатлела это новогоднее счастье: во дворе нового дома родители, мы с братом, все в шубах, валенки с чёрными резиновыми галошами, только у мамы белые фетровые валеночки, да ещё и на каблучке! А на снегу перед нами Кремль с красной звездой наверху, единственная привезённая с Урала игрушка — деревянная пирамида в половину нашего роста.

Родители работали в редакциях газет. У мамы была ответственная должность — старший редактор города Севастополя. Вся печатная продукция проходила через её руки. Мы оставались дома на попечении соседской бабушки. Уходя на работу, мама просила соседку присмотреть за нами. У бабушки было уникальное имя, таких имён я не слышала ни до, ни после знакомства с ней — Киля. Все звали её: бабушка Киля.

Она жила в нашей коммунальной, на три семьи, квартире в соседней комнате, два окна которой выходили на солнечную сторону. Зимой, когда было холодно, бабушка часто звала нас в свою комнату. У них было уютно и интересно, везде белые, ажурно вязанные, салфетки: на столе, диване, тумбочке. Около окна стоял патефон, на нём можно было проигрывать пластинки. Над диваном висела полочка, выпиленная лобзиком из фанеры, где рядком стояли мраморные белые слоники. Слоников было семь, считалось, что это количество приносит удачу. На стенах, в рамочках под стеклом, было много вышивок, изображающих то красивую девочку, дрессирующую пушистую собачку, то кокетливых золотоволосых красавиц с матросскими воротничками.

Мягкий тёплый свет шёлкового абажура оранжевого цвета придавал большой бабушкиной комнате особый уют. Мы часто вместе с бабушкой Килей рассматривали её семейный

альбом. Жила она с дочкой Верой, а внук Владик служил срочную на корабле во Владивостоке.

Домой на побывку Владик прибыл неожиданно и нам с братом сразу очень понравился. Не только потому, что угостил нас настоящими флотскими галетами и чёрным несладким шоколадом, в общем, тем, что нам никогда даже и не снилось попробовать! Владик был высоким, подтянутым, очень весёлым и красивым! Первый раз в жизни мы так близко видели настоящего матроса. На нём ладно сидела форма: суконные со стрелками брюки-клёш, матросская формёнка с пристёгивающимся синим с белыми полосками воротником особого покроя, его Владик называл гюйсом. И под формёнкой была замечательная полосатая сине-белая тельняшка! Так называемый «тельник». От Владика приятно пахло гуталином, им он до блеска начищал свои чёрные ботинки.

А ещё пахло загадочным матросским кубриком, морем, ветром, солёными брызгами волн, которыми были пропитаны его загорелое лицо, руки и даже волосы. И бескозырка с развевающимися на ветру репсовыми чёрными лентами, на концах которых были золотые якоря, а посредине золотыми буквами надпись «Тихоокеанский флот». Отпуск Владика закончился быстро, и он отправился в далёкий Владивосток дослуживать положенный срок.

Мы воспринимали его как большого старшего брата и очень грустили после отъезда внука бабушки Кили. Но недолго: в гости к нам отец часто приводил ребят — матросов срочной службы. Чаще всего это было по праздникам. Мама уже знала, что в дом могут прийти матросы, и у неё всегда было чем их накормить. Так принято было тогда: гостей всегда кормили.

Мы тут же попросили маму пошить нам морскую одежду. И мамочка, которая работала и днём, и ночью, села за довоенный «Зингер», и через два дня мы надели новые «матроски»! Да, тогда была уже детская мода, наши мамы-рукодельницы и шили, и перешивали из нового и старого материала одежду нам — детям.

Мама была небольшого роста, помню её причёску — гладкие русые волосы с пробором посредине. Одевалась всегда

скромно, но хорошо! Её чёрные лаковые босоножки, элегантные и модные, на пробковой платформе, позже довелось носить и мне. В то время обувь делалась на года... Мне всегда хотелось надеть мамины туфельки из натуральной кожи на каблучках, и когда её не было дома, я шлёпала в них по комнате. Запомнился запах новой обуви, даже кожа наших недорогих летних сандалий или зимних ботинок почему-то так вкусно пахла, когда её приносили из магазина в картонных коробках серого цвета!

Лёгкая промышленность в СССР в конце 50-х годов уже вовсю работала, в магазинах появились новые ткани: крепдешин, креп-жоржет, натуральный шёлк, позже капрон и нейлон модных в то время рисунков и расцветок: и в «огурец», и в горошек, и даже абстрактные. Летние платья для нас с мамой получались из таких отрезов великолепные.

У мамы было одно или два шерстяных платья, один элегантный серый в мелкую клетку шерстяной костюм и один сарафан. К сарафану прилагалось множество блузочек, мама шила их сама, одну я даже запомнила. Она была сшита из настоящего парашютного шёлка и служила очень долго! А парашют, вернее, шёлк от него, был куплен на толкучке, располагавшейся рядом с центральным рынком.

Наши мамы одевались красиво! И одевали по возможности нас — детей и мужей. Платья и костюмы мама шила сама, иногда прибегала к услугам ателье или закройщицы верхнего платья. Позже мама покупала модные журналы или выписывала журнал «Работница», откуда брала выкройки и обшивала нас. Даже первые джинсы, они назывались в то время «техасы», мама сшила брату сама, прострочив швы в три ряда разноцветными нитками.

Отец тоже всегда одевался хорошо. На заказ шил в ателье драповое пальто, из габардина шились двубортные костюмы, рубахи носил и хлопчатобумажные, и шёлковые. Мне из них мама перешивала шикарные платья — таких ни у кого не было. Летом отец носил парусиновый костюм (это была лёгкая льняная ткань бело-серого цвета), он легко стирался и быстро сох на солнце. К костюму прилагались

белые, тоже парусиновые, туфли, которые он регулярно начищал зубным порошком.

Особых или дорогих подарков в нашей семье не делалось. Мы, дети, дарили родителям самоделки, рисовали открытки или делали вышивки. В нашей школе был отличный преподаватель труда. И девочки, и мальчики — все учились шить, делать правильные стежки, пришивать пуговицы, вышивать крестиком. И, если я ничего не путаю, с четвёртого класса уроки труда проходили в слесарных мастерских. Я сделала металлический совок для мусора и подарила его родителям.

Родители всегда дарили нам обновки; когда подросли, то стали делать это по очереди, накладно было одновременно обоим детям. Мама к празднику шила мне новые платья или костюмы. Мы всегда знали, что когда кому будут покупать. Как правило, покупался костюм отцу и брату одновременно, кажется, чешского или немецкого производства. А потом была наша с мамой очередь: нам покупались модные плащи или обувь. Отец не носил шляп, любил кепки. Шапок мы здесь зимой тогда почти не носили, поэтому у него была одна шапка с цигейкой, которая прослужила ему долгие-долгие годы, сохранив при этом вполне приличный внешний вид.

* * *

В послевоенные годы люди особо ценили и берегли то, что имели: дом, семью, детей, — старались больше времени проводить вместе. По вечерам и в праздничные дни, когда позволяла погода, мы отправлялись с родителями на прогулку по городу. Больше всего мы с братом любили такие вечера, когда мама и отец, красиво нарядившись, шли под руку по городу. Сначала к Графской пристани, потом заходили на Приморский бульвар, где перед входом — справа и слева — стояли киоски, в которых продавалось мороженое. Нам там непременно покупали эскимо! На «Примбуле» — так мы любя называли наш бульвар — нам нравилось проходить под мостиком, теперь его называют мостом Любви, посидеть под ним на каменных скамейках и загадать желание. Этот мостик необыкновенно красив и сейчас.

Нам нравилось бежать вдоль кромки моря, слушать шум морского прибоя и ощущать свежее дыхание ночного бриза. А ещё мы любили вглядываться в чёрную шёлковую гладь моря с отражёнными на лёгких волнах огнями маяков, проходящих кораблей, лодок и светом стоящих справа от выхода на внешний рейд вековых стражей Севастополя: Константиновского и Михайловского равелинов!

Наша улица вела прямо к морю, на пристань. В Артиллерийской бухте, там, где сейчас причаливает паром, идущий на Северную сторону, раньше был рыбный базар. На рассвете к берегу причаливали баркасы, лодки, ялики, на борту которых был утренний улов рыбаков. Рыба шла, в зависимости от времени года, разная: кефаль, камбала, треска, ставрида, барабулька. Камбала была настолько большой, что с рынка её с трудом несли мужчины, ухватив рукой под жабры.

— Бабушка, бабушка Киля, — завидев громадное морское чудо, с восторгом бежали мы к соседке, — мы видели сегодня вот такую рыбину!

— Я знаю, знаю, она называется камбала, — поправлял Валька.

— Это разве большая? — невозмутимо спрашивала баба Киля. — Вот у нас на Дальнем Востоке...

— Бабушка, расскажите, покажите, какого размера рыба там? Вот такая? — я разводила руки в сторону. Мы уже знали, где находится Дальний Восток — там, на востоке, далеко, где служит наш Владик.

— Нет, больше, — в её глазах загорались искорки.

Мы с братом брались за руки и разводили их в сторону: «Такая?»

— Нет... Ещё больше! А ещё там есть огромные крабы. Знаете, ребятки, у них одна клешня как ваши ручки! — от приятных воспоминаний о родных краях, где сейчас несёт службу её любимый внук, на лице бабушки светилась улыбка...

— Я знаю, вашу огромную камбалу не унести одному человеку, рыбу можно погрузить на телегу с лошадью и отвезти домой! — мой старший брат Валька был уже «в теме», видел на Урале такой гужевой транспорт.

Бабушка Киля ласково обнимала нас и тихо смеялась...

А я представляла себе такую картину: всё, что можно купить во Владивостоке на базаре, было таким огромным, что приходилось заказывать телегу (про которую рассказывал мой брат). И даже арбузы были настолько гигантские, по рассказам бабушки, что не помещались в телегу. Их просто катили по улице впереди себя!

Так, за разговорами и воспоминаниями с бабушкой Килей, мы ликвидировали пробелы наших знаний и в географии, и в биологии, и в зоологии.

* * *

Все самые-самые интересные места нам в Севастополе показал отец. Мы жили в районе центрального рынка, но нам ничего не стоило махнуть через горку на раскопки руин Херсонеса. На минуточку: туда-сюда — это несколько километров! Мальчишки и в самом деле находили там старинные монеты и разные ценные вещи — артефакты и черепки от старинных арф. Летом, когда оставались дома одни, мы отпрашивались у бабушки и бежали на море, на Хрусталку, так назывался пляж, с компанией таких же, как мы, — пяти-восьмилетних детей. И, хотя мой брат был старше меня, я всегда ощущала себя ответственной за него тоже. Я помнила о трагедиях, которые пришлось пережить нашей мамочке, и всегда останавливала мальчишек, если чувствовала какую-нибудь опасность...

Необычайно яркое впечатление детства: наша первая экскурсия в Панораму на 4-м бастионе. Панорама — это круглое здание, созданное к 50-летию Первой обороны Севастополя (1854 — 1855 гг.) во время Крымской войны. Здание Панорамы на Историческом бульваре было частично разрушено во время Великой Отечественной, сгорела большая часть полотна кисти Франца Рубо. И вот 16 октября 1954 года состоялось второе открытие Панорамы. Никогда не забуду, как, стоя на помосте смотровой площадки, я ощутила себя действующим лицом представшей перед глазами картины. Мы уже видели Малахов курган и Корабельную сторону, бывали там, а тут они открылись нашему взору с неожиданного

ракурса. Какая-то величественная тишина, переполненная историей и героизмом атмосфера, особый воздух и застывшие на миг картины баталии столетней давности, воссозданные на полотне площадью более чем полторы тысячи квадратных метров, потрясли меня! Я не хотела уходить! Шагнёшь за ограждение — и ты уже на переднем плане истории. Вот это ощущение полной реальности происходящего, с которым ты можешь слиться и частью которого ты можешь стать сейчас же, без промедления, не покидает меня до сих пор, стоит лишь подумать о том первом походе в Панораму.

Позже, когда мы жили на Большой Морской, Исторический бульвар был местом наших ежедневных прогулок. Там было много интересного: редуты, пушки, ядра, якоря. А в феврале там зацветал первый миндаль! Облетавшие с дерева бледно-розовые лепестки порой кружились в одном вихре со снежинками. Украшением весны на «Историке» было яркое цветение багряника (Иудина дерева) и сирени. Позже рядом с Панорамой был открыт кинозал, где мы бесплатно смотрели кино о первой и второй оборонах Севастополя и другие популярные патриотические фильмы.

Ниже Панорамы была построена парашютная вышка, в 50-х годах в городах устанавливали такие аттракционы. Все, как говорят сейчас, любящие экстрим прыгали тогда с вышки, главное — ты должен был быть определённого веса, не менее 45 килограмм. Сначала нужно было залезть на высоту, инструктор надевал на тебя ремни, которые удерживали тебя на парашюте. А потом ты делал шаг вперёд и... летел вниз! Экстрим! До земли я не дотянула — повисла в воздухе, веса не хватило. По-моему, наши родители о том, что мы парашютисты, не знали. Мы берегли их нервы.

С высоты Исторического бульвара весь город просматривался как на ладони. Красная горка с установленным на постаменте навечно первым танком, ворвавшимся в город при освобождении в мае 1944 года. А внизу железнодорожный и автовокзал, рядом с великолепной Южной бухтой, на берегу которой стоит знаменитый на всю Россию Морской завод имени Орджоникидзе — полный ровесник Севастополя. Сверху виден был и Малахов курган, и через бухту —

Северная сторона, где на Братском мемориальном кладбище возвышался, тогда ещё обезглавленный прошедшей войной, Храм-пирамида Святого Николая — православный Храм-памятник защитникам Севастополя в период Крымской войны. Храм строился с 1857 по 1870 годы, его автор архитектор А. А. Авдеев был удостоен за этот проект звания академика архитектуры. Во время Великой Отечественной войны Храм-памятник пострадал, верхушка здания была сильно разрушена, 16-тонный крест рухнул на землю. После войны здание было восстановлено в прежнем виде, там по-прежнему проходят богослужения. Когда мама по роду деятельности была на Северной стороне, мы всегда просились с ней, чтобы посетить Братское мемориальное кладбище. Там всё дышало вековой историей нашей Родины, нашей России!

* * *

Наши родители любили Севастополь, принимали активное участие в возрождении города. И этой любовью и преданностью щедро делились с нами. Мы тоже как могли участвовали в возрождении города русской военно-морской славы. С радостью ходили на субботники и воскресники, убирали улицы около школы, вскапывали газоны и сажали деревья в парке. Нас никто не просил, не учил, что поступать нужно именно так, а не иначе. Мы жили в этом городе и впитывали дух добра, патриотизма и трудолюбия, который просто витал в воздухе нашего легендарного города.

Девятилетние, мы создали тимуровскую команду. Расчистили место для штаба на чердаке нашего пятиэтажного дома. Составили план работы и приступили к его выполнению. Самое трудное, как оказалось, было найти подшефного — человека, которому мы собирались помогать по хозяйству. Взрослые только улыбались... И всё-таки работа пошла. Надев пионерские галстуки, мы дежурили на одной из главных улиц — проспекте Нахимова: следили за порядком, чтобы люди переходили дорогу в положенном месте, чтобы не сорили на улице, потому что наш город, мы уже знали это, считался одним из самых чистых в Советском Союзе.

* * *

Когда 4 ноября 1959 года открылась знаменитая Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», мы стали часто бывать там со школьными экскурсиями. А потом у подножья Сапун-горы решили проводить мотокросс в честь Дня Победы. Туда поболеть за своих знакомых и друзей ездили целыми семьями. Когда была возможность, мы с родителями тоже отправлялись 9 Мая на Сапун-гору.

Моему брату родители подарили велосипед «Орлёнок», на нём, естественно, катался весь наш двор. Поначалу учились мы кататься на велосипеде в Комсомольском парке. Он был заложен на месте громадной воронки от бомбы в самом центре города. Парк получил такое название потому, что главный вклад в его создание внесли комсомольцы, и Комсомольский парк — с фонтаном, каруселью, лодочками, другими аттракционами — получился просто замечательным!

Научившись хорошо кататься на велосипеде, мой брат решил вместе с одноклассником поехать на Сапун-гору. Тогда наших мальчишек интересовало всё военное: и старая техника, и вооружение. Негласно, об этом родители не знали, мальчишки давно уже вели раскопки на местах не столь уж давно закончившихся ожесточённых боёв. В тот раз до Сапуна они не доехали, на Лабораторном шоссе отважные четвероклассники остановились, потом углубились в степь и нашли там в расщелине пулемётное гнездо с оставшимися частями пулемёта. Рядом стояли «цинки» — ящики с патронами. Об этом мой брат рассказал мне совсем недавно.

Увлечение моего брата Валерия техникой переросло с годами в настоящее дело. После окончания Севастопольского приборостроительного института он долгое время работал в НИИ г. Новочеркасска. Сугубо штатский человек, офицер запаса, брат является автором научных статей в специальных журналах, имеет восемь изобретений, пять из которых внедрены в оборонной промышленности, награждён медалью ВДНХ и имеет Почётный знак лауреата Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодёжи. Серьёзно относиться к порученному делу, любить то, чем занимаешься,

докопаться до самых мелочей и увидеть выход там, где его не заметил до тебя ни один человек, — этому Валерий, конечно же, научился у наших родителей.

* * *

Хорошие были времена: мы — семья — были всегда вместе. Центральное кольцо города было восстановлено и заблистало своей красотой и неповторимостью уже в конце пятидесятых годов. Всё работало: Дворец пионеров на берегу моря, два драматических театра, библиотеки, кинотеатры. Как же мы любили кино! Была такая традиция: семьёй мы ходили на все премьеры. В кинотеатрах до начала сеанса в больших фойе звучала живая музыка, пели солист или солистка, работал буфет. Почему-то запомнились эти концерты эстрадной музыки, совершенно бесплатные.

«Судьба человека», «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Человек-амфибия», «Девушка без адреса» — фильмы, которые мы охотно смотрели по нескольку раз, и недаром так мы любили эти кинокартины: впоследствии они стали классикой советского кино! В выходные дни отец выдавал нам деньги на утренние детские киносеансы. Мы ходили в «киношку» всем двором. А летом (вездесущие мальчишки знали все летние кинотеатры) можно было смотреть фильмы бесплатно. Мы просто сидели на заборах — ограждения кинотеатров были каменные и, нагретые летним знойным солнцем, долго держали тепло — и радовались встрече с любимыми героями кинофильмов.

* * *

Отец приходил домой поздно, часто обувь и одежда были белёсыми от инкерманской пыли. Город активно строился. Дома возводили из ракушечника, и в том числе из уникального белого известняка, который добывали в пригороде Севастополя — Инкермане.

Рабочим кабинетом газетчика была стройплощадка, там он собирал свой материал о людях труда, их достижениях.

Перенесённая в войну контузия резко ухудшила отцу слух на оба уха. Он был вынужден уйти работать в многотиражку «Севастопольский строитель».

Жили аскетично. Но вдруг неслыханное случилось: мама выиграла по облигациям несказанные деньги — пять тысяч рублей! На них купили новую мебель: кровати с панцирными сетками, диван, шифоньер, стол со стульями. Да, ещё зеркало на стену и радиорепродуктор!

Когда подошла очередь отца на квартиру, ему выделили трёхкомнатную в самом центре города. Но, придя домой, он посоветовался с мамой: «Аничка, нам с детьми хватит двух комнат. У нас сотрудница, Раечка, тоже фронтовик, прошла всю войну, дошла до Берлина, совсем без жилья». Мама поддержала отца, а разве могло быть иначе?

Так мы все вместе въехали в современную, с дубовым паркетом, квартиру, где кроме трёх комнат, кухни и ванной комнаты была ещё огромная лоджия с отдельным входом. Но больше всего мы обрадовались эмалированной чугунной ванне. До тех пор каждую неделю мы мылись в бане, где были каменные лавки и тазики из оцинкованного железа — «шайки».

С тётей Раей отношения складывались мирно и счастливо. Счастье «обеспечивал» большой чёрный кот Пуш Марсович. Его принесли из редакции крошечным, а вырос он в огромного кота, которого знал весь двор. Он унаследовал от своих родителей шикарную сибирскую шерсть и от папы, кажется, характер сиамского кота. Дети называли его «кот-собака». Так вот, первое счастье случилось одновременно: тётя Рая в 50 лет вышла замуж, а мой брат после школы поступил в институт.

* * *

Я убеждена, что общество делает человека, а личный пример родителей — самый лучший воспитатель. Мы жили в Советском Союзе, в младших классах становились октябрятами, потом пионерами, лучших принимали в комсомол. Воспитательных (в смысле «карательных») мер по отношению к нам

отец никогда не применял. Мы всегда его видели читающим или пишущим. Мы тоже пристрастились к чтению: записались в библиотеку, брат был во всём первым, я, как ниточка за иголочкой, шла следом. Читали мы много и взахлёб, даже фонарики купили, чтобы читать книги ночью под одеялами. Родители выписывали нам прессу, в зависимости от предпочтений каждого. «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Костёр», «Пионер», «Крокодил», «Пионерская правда» — вот наша детская пресса. Позже «Комсомольская правда», журналы «Юность», «Смена», «Наука и жизнь» вошли в наш дом и жизнь.

Отец выписывал и от корки до корки читал «Комсомольскую правду», «Литературную газету», «Огонёк», «Новый мир». Самым лучшим подарком для него было прислать или привезти откуда-нибудь местную прессу. Мы так и называли его — «газетная душа». Более тридцати лет он покупал номера из серии «Библиотека «Огонёк»», где печатались произведения лучших русских, советских поэтов и писателей. Особенно дороги ему были произведения и стихи Ольги Берггольц, он считал её фронтовичкой. Любил и произведения других писателей-фронтовиков: Бориса Полевого, Даниила Гранина. Дружил и вёл переписку с писателем и поэтом Андреем Алдан-Семёновым. В Севастополе особенно ценил встречи с поэтами Иваном Тучковым, Николаем Криванчиковым, Афанасием Красовским, композитором Борисом Боголеповым.

Он увлечённо, жадно жил, дорожа каждым мигом и каждым человеком, дружил с фронтовиками, ценил верность в дружбе. Вообще, вспоминаю, когда я уже была взрослой, он всегда говорил так: «Творческие личности не стареют». И это точно. А от себя ещё добавлю: и не умирают!

Отец, как я уже упоминала, получил во время боёв за Ленинград множественные ранения. Неизвлечённые осколки от разорвавшихся снарядов в его теле оставались до конца жизни. Старые раны и контузия дали знать о себе уже в конце шестидесятых. Отец стал инвалидом по слуху, был вынужден сменить профессию и уже работал не журналистом, а инспектором по жилью. Мы взрослели, в двух смеж-

ных комнатах в коммуналке было уже тесно. Мама уговаривала отца: «Володя, попроси расширения». Но, вернувшись из очередной инспекции в Загородной балке, где оставалось ещё много бараков, он только хмурился...

Двухэтажные бараки, которые строились в 50-х годах, чтобы обеспечить жильём людей, приезжающих восстанавливать город, до сих пор не были расселены. И поэтому отец был неумолим.

— Аничка, что ты! Ты не видела, как там люди с семьями живут. У них удобства на улице!

Свою Аничку он очень любил, посвящал ей стихи, писал добрые эпиграммы. И музыкальные предпочтения у них были одинаковые: любили слушать Александра Вертинского, Марка Бернеса, Георга Отса.

Дожил отец до 85 лет. Днём, отложив недочитанную газету, сказал маме, что дочитает её завтра. Уснул и умер. На завтра у него были планы: сбегать в редакцию своей любимой газеты «Флаг Родины», отнести стихи. Он печатался до конца жизни: стихи, эпиграммы, зарисовки из жизни.

* * *

Мне нравится его «Графская пристань». Отца не отпускала война. Как и двадцать лет назад, он становился на место матросов, освобождавших Севастополь и водрузивших на Графской пристани алый стяг победы над захватчиками города.

Стою на графской пристани
У каменных колонн,
Над бухтой в небо чистое
Взметнулся шёлк знамён.

Вечер, и мягче краски,
Вдали огни горят
И вновь колонны Графской
О славе говорят.

Тут бой вели матросы
С безжалостным врагом,
Огнём его отбросив,
Преследуя бегом.

Здесь бушевало пламя
И в мае поутру
В сорок четвёртом знамя
Шумело на ветру.

Оно цвело над пристанью
Немеркнущим огнём,
Смотрели люди пристально,
Победу видя в нём.

Здесь тот причал родимый,
Здесь ликовал народ,
Когда непобедимый
Пришёл военный флот.

И мне опять матросом
Так захотелось стать,
Хоть знаю я: непросто
Границу охранять.

Люблю стоять на пристани,
Что Графскою зовём,
Здесь волны шепчут исстари
Легенды о былом.

После смерти я нашла в домашнем архиве неопубликованные стихи отца.

Тронуло четверостишье из одного стихотворения:

За тебя, Ленинград,
Мы сражались как львы,
Как теперь говорят,
Не склонив головы.

До войны, после окончания пединститута, отец работал учителем русского языка и литературы, а на войне был рядовым красноармейцем, в одной шеренге с теми, кто, не жалея жизни, защищал великую свою страну от жестокого врага. Он никогда ничего не просил для себя и никогда никому не завидовал. Ему достаточно было заниматься любимым делом.

Счастье бывает разным. У моего отца оно было таким: следовать своей мечте, служить Родине, любить семью и жизнь. Жить по совести.

Главное вознаграждение пришло к отцу на закате дней. Красивый белокаменный город у самого синего моря, построенный для детей, внуков и правнуков. Он любил его беззаветно. Сколько уважения, добра, гордости в скупых информационных строках вышло из-под пера отца на газетные полосы. Он гордился и восхищался подвигом строителей, возродивших город из пепла и руин.

* * *

Поздно вечером 9 мая в моём доме раздался телефонный звонок. Это звонили из Новочеркасска дочь моего брата Зоя, её муж Саша и их дети, внуки и правнуки моего отца:

— Ириша, прости, что поздно звоним, с Днём Победы тебя! Сегодня с детьми шли в рядах Бессмертного полка, они сами захотели, когда узнали, что будем идти с дедушкиными портретами. Жаль только, что не было фотографии дедушки Володи. И всё-таки он шёл с нами тоже! Он был в сердце каждого из нас...

Вот такая благостная весть пришла в мой дом и дом моих родителей в самый любимый их праздник.

Евгения Серенко

г. Торонто, Канада

МИМОЛЁТНАЯ ВСТРЕЧА

Все летние каникулы мы с сестрой проводили в Подмосковье, в просторном деревянном доме в Почтовом переулке недалеко от станции Гривно.

Я помню большой сад, террасу, на которой каждый вечер ровно в шесть часов стелили на стол тяжёлую тёмно-красную скатерть, доставали из буфета старинный чайный сервиз и серебряные ложечки, разжигали самовар и усаживались пить чай. Накладывали в вазочки варенье: вишнёвое, малиновое, яблочное — всё из своего сада, наполняли им маленькие розетки («Женечка, положи себе яблочного: оно из штрифеля!») и не спеша, будто занимались чем-то очень важным, пили чай. Мог перевернуться мир, но этому ритуалу не изменяли никогда.

Через час включали радио и слушали «Последние известия» — это называлось «слушать газету».

Тогда мне казалось всё это ерундой и пустой тратой времени, а теперь я бы многое отдала, чтобы ещё хоть разок посидеть на той веранде и попить чай вместе с бабушкой, мамой, сестрой и тётей Ниной. И даже послушать вместе с ними газету.

* * *

Почему она выбрала Текстильный институт, Нина не знала сама. Скорей всего, потому, что к Курскому вокзалу он был ближе остальных. Да и специальности были женские. Наверное, никогда ещё этот институт не видел такой прилежной студентки.

«Если что-то делаешь, делай это хорошо», — она навсегда запомнила слова, которые когда-то сказал ей отец. Они жили тогда в Кокчетаве: туда эвакуировали Машино-

строительный завод, на котором работал инженером их отец. Он уехал с двумя дочерьми, но в самом конце войны девочки похоронили умершего от воспаления лёгких отца и вернулись в Подмосковье к своей тёте. Семья была большая: у тёти Ани, кроме Нины и Милы, было четверо взрослых сыновей.

Нина окончила институт и получила направление на Подмосковную трикотажную фабрику. Каждое утро в 7:05 она садилась на электричку и ехала на фабрику, чтобы первой войти в свой Техотдел, а после работы уйти из него последней.

В ноябре пятьдесят пятого года она пошла в свой первый отпуск и поехала на могилу отца.

Нина вышла на Привокзальную площадь и ахнула.

Тот же обшарпанный продуктовый магазин на углу, та же аптека на первом этаже белёного кирпичного дома... казалось, ничто не изменилось за те десять лет, что она не была в Кокчетаве. Будь у неё больше времени, она бы съездила на улицу Пугачёва, нашла дом номер восемь и, может быть, даже встретила кого-нибудь из школьных подруг. Но до обратного поезда всего пять часов.

Старенький дребезжащий автобус довёз её почти до самого кладбища.

«Ого, сколько новых могил! Хотя — чему удивляться? За столько-то лет...»

Она легко отыскала папину могилу, собрала сухие ветки и какие-то камни («Они-то откуда здесь взялись?»), постояла, всплакнула и отправилась к сторожу.

— Пожалуйста, — она протянула ему маленький пакетик, — возьмите эти семена. Это петуньи и настурции из моего сада. Вы бы не могли посадить их летом на могиле Николая Александровича С.?

Она открыла сумочку, хотела дать ему деньги, но сторож не взял их.

— Откуда ты, дочка?

— Из Москвы. Мы жили здесь в войну. Папа умер всего за месяц до Победы. Я давно хотела приехать, но не получалось.

— Не беспокойся, дочка, посажу я твои цветы. И за могилкой пригляжу. Хорошая ты девушка!

— Спасибо, — смутилась Нина. — А теперь мне пора на вокзал: я всего-то на пять часов приехала.

На таком же допотопном автобусе она вернулась на Привокзальную площадь, зашла в магазин и купила в дорогу хлеб и две банки консервов.

До отхода поезда оставалось чуть меньше часа. Начинался снег. Нина замёрзла в своём стареньком пальтишке и зашла в зал ожидания. Там было тесно, накурено, и она решила подождать на перроне: всё равно скоро объявят посадку. Её состав должны были подать на первый путь, а пока на нём стоял проходящий поезд Омск — Караганда. Уже объявили, что до его отправления осталось пять минут, проводники закрыли двери, провожающие ушли, и Нина осталась на перроне одна.

Было холодно.

Неожиданно она почувствовала чей-то взгляд: сквозь замызганное вагонное окно на неё смотрел молодой мужчина. Кто-то знакомый? Она вгляделась. Толя? Нет! Или всё-таки Толя?

Поезд тронулся, мужчина прильнул к окну и что-то крикнул.

— Толя... — прошептала она.

Нина не чувствовала холода, не замечала падающих снежинок.

«Объявляется посадка на пассажирский поезд Кокчетав — Москва. Нумерация вагонов с головы поезда».

Она вошла в вагон, аккуратно застелила свою нижнюю боковую полку, легла и закрыла глаза.

* * *

В девятом классе ей дали комсомольское поручение: помочь в учёбе Зине Пономарёвой.

«Если что-то делаешь — делай это хорошо».

И Нина очень старалась. Они оставались после занятий, делали вместе уроки, и иногда за Зиной заходил её старший

брат. Толе было уже девятнадцать, он работал на заводе и учился в вечернем техникуме.

С ним было весело. Он сразу забирал её тяжёлый портфель («Что ты там таскаешь, подружка, уж не кирпичи ли?») и рассказывал смешные истории, которые то ли и вправду приключались с ним, то ли он их выдумывал. Нина так жалела, что от школы до Почтового переулка было только десять минут ходу! Лучше бы это она жила у фабрики игрушек, а они в Почтовом переулке, и это её Толя целых полчаса провожал домой.

А потом он сказал, что уходит в армию.

— Расти скорей, подружка! Как раз школу окончишь — и я вернусь.

Она не поняла, смеётся он или говорит всерьёз.

Зина передавала от него приветы, а на Новый год даже принесла открытку.

«С Новым годом, подружка! Расти большой, хорошо учись и поступай в институт! Рядовой Анатолий Пономарёв».

Она выполнила все его пожелания: выросла самой высокой в семье, хорошо окончила школу и поступила в институт. С Зиной они больше не виделись. Нина знала, что она устроилась работать на фабрику игрушек, но времени навестить её не было совсем: шесть дней в неделю она пропадала в институте, а по воскресеньям нужно было помогать тёте Ане. Да ещё общественные поручения, а летом — сад.

И вот через девять лет эта встреча. Да и встреча ли?

Его ли она видела в том вагонном окне?

После поездки в Кокчетав ничего не изменилось. Та же электричка в 7:05 утром и в 6:25 вечером, тот же техотдел.

Иногда после работы она ехала в Москву и строго по списку покупала в Елисеевском гастрономе то, что заказывала тётя Аня: 300 грамм ветчины, 400 грамм швейцарского сыра, полкило хороших конфет...

Мила вышла замуж, бросила свой институт и уехала в Белоруссию. Двоюродные братья женились, обзавелись детьми и разъехались по Подмосковью.

На бархатную красную скатерть по вечерам теперь ставили только две чашки: её и тёти Ани.

Ничего не изменилось.

Только теперь, ложась вечером спать, Нина мечтала.

Начало было всегда одинаковым: она стоит на холодном перроне, Толя видит её из окна и выскакивает из вагона. Он берёт в ладони её лицо и говорит: «Нашёл! Наконец я нашёл тебя!» «Чемодан, — почему-то отвечает она. — Ты забыл свой чемодан».

А потом каждый вечер ей мечталось по-разному. То они ездили в Сочи, то плыли по Волге на пароходе «Максим Горький», то она варила варенье, а Толя сидел рядом и ждал, когда можно будет попробовать пенки.

Рядом с Трикотажной фабрикой был небольшой хозяйственный магазин.

— Нина Николаевна, — как-то позвала её Танечка из бухгалтерии, — в хозмаг хрусталь завезли, пойдёмте скорей! Там уже все наши стоят.

В обеденный перерыв Нина поспешила в магазин. «Какие рюмки красивые, — думала она, стоя в очереди. — Вот тётя Аня обрадуется! Успеть бы только до конца обеда!»

Не успела: очередь, казалось, замерла на месте. Без десяти два Нина повернулась к стоящей за ней женщине:

— Я ухожу, вот за этой девушкой стойте.

— Нина Николаевна, да вы что? — зашумела очередь. — Такой дефицит! В кои-то веки!

— Нет, нет, мне пора.

«Ничего, — успокаивала она себя, спеша назад на фабрику, — жили без этих рюмок и ещё поживём. Жаль, конечно, но не опаздывать же из-за них на работу!»

Через пару часов к ней зашла Танечка и торжественно поставила коробку прямо на бумаги:

— Вот ваши рюмки! С вас 30 рублей. Я и себе такие же взяла.

— Но как же?..

— А никто и не пикнул. Вся очередь так решила.

(Недавно в Канаде было землетрясение, и отголоски дошли до Торонто. Не зазвени у меня на полке эти рюмочки — память о тёте Нине, — не почувствовала бы я никакого землетрясения).

Нина любила свою работу. Даже шумный трикотажный цех не казался ей слишком шумным. Вот только бы не ездить летом в подшефный колхоз, а осенью не перебирать на овощной базе гнилую морковку!

Каждый раз, когда приходила разнарядка: сколько куда послать человек, — к ней приходили с просьбой:

— Нина Николаевна, пожалуйста! Дочка опять заболела, а на мужа, сами понимаете, надежды мало...

У всех были семьи, и почему-то все забывали, что у неё она тоже есть — её старенькая тётя Аня.

(Я не знаю, почему судьба так обошлась с моей тихой и доброй бабушкой. В двадцать восемь она осталась вдовой с четырьмя сыновьями, а потом пережила и их. Когда она умирала в жаркое лето семьдесят второго года, около неё были шесть женщин: Нина, Мила и четыре невестки, и каждая считала её второй мамой.)

Нина осталась одна.

Дом в Почтовом переулке снесли, и она купила небольшую квартирку на первом этаже кооперативного дома на Садовой. Вместо яблоневого сада был маленький палисадник, где цвели всё те же настурции и петуньи, а для варенья она посадила два куста: смородину и крыжовник. Нина по-прежнему старалась прийти домой в шесть часов, но чашка на стол теперь ставилась только одна, да вода кипела не в самоваре, а в чайнике.

Через дорогу от её дома был винно-водочный магазин. Его завсегдатаям частенько не хватало денег, но они знали, у кого можно перехватить до получки. Нина Николаевна каждый раз рассказывала им о вреде пьянства, а потом брала честное слово — его охотно давали, — что это в последний раз.

До следующего раза.

Взамен они охраняли её палисадник: ни один мальчишка не бросил туда мяч, ни один забулдыга не помял цветы или нарвал ягод.

На пенсию Нина Николаевна ушла уже с должности главного технолога.

В двадцать вторую годовщину смерти тёти Ани она встретила на кладбище Зину.

— Господи! — воскликнула та. — Сколько же лет мы не виделись?! Живём в одном городе и ни разу не встретились! Кстати, помнишь Толю? Он сейчас в Подольске, в гостинице. Хотел у меня остановиться, но негде: три семьи в одной квартире. Сегодня вечером обещал заехать. Хочешь — приходи в гости.

— Ну что ты, неудобно...

— Тогда давай твой телефон — он позвонит, может, увидитесь.

На следующий день он позвонил.

Договорились, что он придёт к ней в субботу в три часа.

«Так, сегодня я составлю списки, — думала Нина, — что сделать и что купить. Среда и четверг — на уборку. Пятница — на покупки, а в субботу с утра буду готовить».

Два дня она драила свою и без того чистенькую квартирку, в пятницу утром со списком, что купить, — как когда-то, ещё во времена тёти Ани, — поехала в Елисеевский гастроном, а после обеда отправилась через дорогу в винно-водочный магазин.

— Нина Николаевна! — окликнул её Борис из пятнадцатой квартиры. — Что это вы в очередь встали? А ну, братва, пропустите человека!

Она смущённо прошла к прилавку:

— Мне водки одну бутылку и вина, какое получше, пожалуйста.

Очередь зашумела.

— Нина Николавна, возьмите Русскую.

— Да ну её, Московскую лучше: она помягче.

— И Агдам, — посыпались советы.

Продавщица внимательно посмотрела на растерявшуюся

Нину Николаевну и достала из-под прилавка бутылку Столичной и Токайское вино.

— Агдам, — фыркнула она. — Это для вас Агдам, а для Нины Николаевны кое-что и получше есть.

Анатолий пришёл ровно в три.

Он принёс ей цветы: три гвоздички — и коробку конфет. Рассказал, что поколесил по стране, а потом осел в Казахстане. Был женат, но давно развёлся. Похвалил её стряпню, спросил, как она жила эти годы.

Нина рассказала о своей бывшей работе, о том, что даже сейчас, на пенсии, пишет «Историю Подмосковной Трикотажной фабрики».

— У тебя можно курить? — спросил он.

— Конечно! — она протянула ему блюдце вместо пепельницы.

Он затянулся и замолчал. Говорить было не о чем.

* * *

После его ухода она убрала со стола («Ой, сколько всего осталось! На неделю хватит!»), тщательно вымыла посуду и легла отдохнуть.

«Чужой. Совсем чужой... Сколько мы не виделись? Сейчас мне шестьдесят четыре, а тогда было шестнадцать. Конечно, чужой. А каким же ещё ему быть, если между нами — пропасть глубиной в сорок восемь лет? Ой! Я совсем забыла спросить: не его ли я видела тогда в Кокчетаве? А впрочем, какая разница?»

В этот вечер она впервые за долгие годы уснула без всяких мечтаний.

Анатолий сидел на кровати в трёхместном номере дешёвой Подольской гостиницы.

«Так... Завтра съезжу на кладбище в Сертякино, надо отца с матерью помянуть. А потом рвану в Вышний Волочёк, Илья давно в гости звал. Может, там и осяду. Была бы шея. Конечно, по-хорошему бы к Серёге в Черновцы поехать, да кто ж меня, не гражданина Украины, там

пропишет? Не гражданина... Чёрт бы их всех побрал! Так бездарно обойтись со страной! И я... я так же бездарно обошёлся со своей жизнью».

Он встал и подошёл к окну.

«Липы цветут. Хорошо! А какая квартирка у неё чистенькая! Так и сверкает! И сама она... Хорошая женщина. Сколько их было в жизни: кто на годы, кто на ночь».

Он легко сходился с людьми и так же легко расставался, никогда ни о ком не жалея. Он всё прощал им — и себе.

Одного не мог он себе простить: почему тогда, почти сорок лет назад, он не схватил чемодан, не выскочил из тёплого вагона и не остался с той незнакомой девушкой, что одиноко стояла на заснеженном кокчетавском перроне?



Протоиерей Анатолий Симора

г. Весьегонск, Тверская область

ИСПОВЕДЬ

Августовское солнце щедро изливало на город тепло и свет. Тридцатилетнему Николаю, что сидел у открытого окна, на душе было холодно, и жизнь ему казалась всё беспросветнее. На работе — неурядицы, зарплата — небольшая. Жена Нина, продавец захудалого магазина, и та приносила больше денег.

Было воскресенье. И вот редкое совпадение — у супругов случился общий выходной, к тому же дети ещё находились на каникулах в деревне.

— Коля, смотри, какая чудесная погода стоит, идём, прогуляемся, — предложила Нина.

— Что-то ничего не хочется, — равнодушно и лениво сказал супруг.

— Так нельзя, тебе надо что-то с этим депрессивным настроением делать. Ты чуть ли не каждый день на меня набрасываешься, всё это становится невыносимым...

Тут с возвышающейся над домами колокольни раздался трезвон, возвестивший об окончании обедни.

— Исповедь, вот что тебе поможет, — с надеждой молвила Нина. — Помнишь, в каком отчаянии я была, когда умерла моя мама. Так после посещения храма, встречи с нашим батюшкой — полегчало... Иди, может, ещё застанешь его.

Николай не стал упускать шанс и через несколько минут переступил порог опустевшей после богослужения церкви. Отец Кондратий, священник с посеребрённой сединой бородой, имел немалый пастырский опыт и сразу определил, что вошедший человек не в себе и ему нужна исповедь. Батюшка подвёл Николая к аналою, где лежали крест и Евангелие.

— Ну, давай, дорогой, говори всё, что наболело, что легло камнем на душу, ничего не скрывай, — повелел отец Кондратий. — Кайся в своих грехах.

— Я, знаете, — выдавил из себя Николай, — недавно поругался со своим начальником. Он набросился на меня ни за что ни про что и стал угрожать, мол, зарплату урежу. А куда её уменьшать... У меня семья, дети. Сам же он в деньгах купается, а мне: урежу. В общем, он меня спровоцировал. Я бы сам никогда не стал злиться. А ещё я рассорился с друзьями. Но виноват не я...

— Здесь, — напомнил настоятель, — исповедь. Её суть в смиренном осознании своей вины, всех своих греховных поступков.

— Батюшка, вы послушайте. Мои приятели стали надо мной подшучивать, а точнее, издеваться... Они начали хвастать, что занимаются предпринимательством, а я лишь — тракторист и в жизни ничего не добился. Я, батюшка, даже при этом сдержался, не всё, что думал, им высказал. Они — страшные грешники. А ещё вот соседи со всех сторон мне гадости делают...

— Николай, так ничего у нас не получится... — пробовал священник расположить неофита к святому таинству. — На исповеди человек должен обратить внимание на свои недостатки, ошибки, а не на грехи ближних.

— Отец Кондратий, да какие ж у меня грехи? Нет у меня их... Вот я вам говорил о соседях. Они со мной разругались, не хотят общаться, искоса на меня поглядывают. А тут ещё с супругой ссорюсь чуть ли не каждый день.

— И... и... — священник с надеждой стал ждать, что наконец-то услышит чистосердечное раскаяние.

— Не понимает она меня, не желает увидеть мою истерзанную жизнью душу. Всё было бы хорошо, если бы она по-другому вела себя... Как видите, мне очень тяжело приходится в этом злом мире.

— Получается, — чуть ли не со стоном проговорил отец Кондратий, — что у вас нет никаких пороков, а грешники только те, кто вас окружает?

— Конечно, вы же сами слышали, батюшка. Я сам ни в чём не виноват.

Отец Кондратий тяжело вздохнул и, указав широким жестом на иконостас и храмовые образы, сказал:

— Видишь, «святая душа», сколько икон в церкви?.. Вот и твой лик теперь, судя по твоему разговору, должен появиться здесь.

И священник попросил Николая последовать за ним в левое крыло храма. Он подвёл исповедника к столу, на котором лежал новый покрытый лаком красивый киот.

— Скажу иконописцу, чтобы написал твой образ и — сюда. У тебя над головой уже нимб просматривается...

Николай пригладил давно не видевшие расчёски волосы и даже повернулся к огромной иконе Божией Матери «Прибавление ума», перед которой догорали свечи на подсвечнике. Он увидел на её стекле своё отражение, над которым и в самом деле был виден свет — падающий, о чём не подумал Николай, от светильников.

— Что ж, «праведник», — с тяжестью произнёс отец Кондратий. — Ты вот в тридцатилетнем возрасте первый раз исповедуешься и не замечаешь за собой ничего порочного. А я без покаяния всего тридцать дней — и уже задыхаюсь от грехов. Вот, «святая душа», всё собираюсь съездить к отцу Олегу в соседний храм. Но это будет не сегодня. Разреши мне перед тобой, «праведным» человеком, исповедаться, облегчить и очистить свою душу...

— Ка-ак так?.. — замер в недоумении Николай. — Вы... вы же — священник?..

— Да, мой родной, священник, а грехов накопил — прямо сердце от них стонет. Нет хуже человека, чем я. Только послушай, — отец Кондратий повернулся к иконостасу и перекрестился. — В церкви молюсь, обращаюсь к Богу, а ум отвлекается... Людей учу любить Бога и ближних, а сам, скверная душа, впадаю то в гордость, то в осуждение, то предаюсь воспоминаниям о прежних грехах. Вот недавно ехал на своей машине... А... а у тебя, Николай, какая машина?

— Жигули шестой модели...

— Вот у тебя автомобиль скромный, а мне, видишь ли, «Рено» подавай, комфорт... Вот ехал недавно на иномарке по нашей родной дороге и угодил колесом в выбоину. Вроде ямка небольшая, а сколько во мне гнева вспыхнуло... на целую бездну. Всех отругал, всех «построил» — от нашего

мастера дорожника Ваньки до Путина. А ведь нужно-то было напрячь внимание, а главное — иметь сдержанность. Когда-то священники пешком ходили и радовались, не обращали даже внимания на глубокие овраги. А я из-за какой-то выбоинки разозлился. Прости, Господи, — отец Кондратий перекрестился, и в глазах его заблестели слезинки. — И как меня, такого злого, земля носит...

— Вы... вы не злой, вы добрый человек, все об этом говорят в городе.

— Это, «святая душа», они не знают меня. А во мне столько плохого... Вот вчера моя заботливая матушка...

— Вы... вы мне не говорите об этом, это же очень личное...

— Нет, нет, тебе, «праведнику», всё можно. Исповедь есть исповедь... Так вот, матушка вошла в комнату, когда я молился. Я... я её отругал. Лицемер... фарисей я. Молитва — это прежде всего любовь, доброта. А я, поганец, — упрёки родному человеку вместо добродетельного смирения. Не люблю я людей, нет во мне любви настоящей, — отец Кондратий утёр слезу. — Я ленивый... — священник, перечислив ещё некоторые свои недостатки, добавил: — А насчёт тебя, Николай, я сейчас позвоню иконописцу.

Он достал новый современный телефон.

— Вот, видишь, брат, какой телефон, — сказал отец Кондратий. — Есть же проще. Так нет, купил с большим цветным экраном... Сребролюбец я.

Николай впал в оцепенение, сопоставляя живую исповедь настоятеля со своей...

— Грешен я словом, делом, помышлением, — заключил длинный перечень грехов батюшка. — Прости, Господи, прости меня, брат Николай. Буду стараться жить лучше, чем жил. Да будет воля Твоя, Господи, — перекрестился он.

Николай хотел вставить слово, но его губы только беззвучно дрожали. Наконец он произнёс:

— Отец Кондратий, я хочу туда, — преклонив стыдливо и смиренно голову, указал он на исповедный аналой. А припав ко кресту и Евангелию, добавил:

— Я сам виноват, а не мой директор. Я опаздывал на работу... Он справедливо меня ругал. А друзья поссорились

со мной потому, что я их обзывал то буржуями, то хапугами. А ведь они всего достигли своим трудом, не то что я — ленивый. Так же и соседи мои — неплохие люди. Это я им завидовал и упрекал их, что они мало трудятся, а живут в достатке, лучше меня. Я, негодный, с супругой ругаюсь, потому что постоянно ною и жалуюсь, как я плохо живу, вместо того чтобы больше трудиться. Да меня и металлический робот не выдержит. Прости меня, Господи, — Николай перекрестился, и на Евангелие упало несколько слезинок из его глаз.

Отец Кондратий положил на покорную голову прихожанина епитрахиль и прочитал, благодаря Бога, разрешительную молитву.

— Как легко мне стало, — молвил Николай, — жизнь, батюшка, другой стала... Спасибо, спасибо вам.

— Благодари Господа, мой дорогой...

Вдруг послышался шум. Это пожилой мужчина вошёл в храм и поднёс настоятелю образ святителя Николая Чудотворца.

— Вот, отец Кондратий, как обещал, — сказал он.

— Это образ твоего небесного покровителя, Николай, — с добродушной улыбкой сообщил прихожанину священник.

— Простите, отец Кондратий, — сказал прихожанин. — Я действительно не знал, что творю, что говорю.

Николай, перекрестившись, благоговейно поцеловал икону святителя и, поблагодарив ещё раз духовного отца, оставил храм. Он первым делом решил позвать из дома супругу, чтобы вместе полюбоваться погожим днём и прекрасным миром вокруг.

2015 г.

Андрей Штин

г. Ижевск, Удмуртская республика

ТЁЗКА

Рассказ-быль

Посвящается водителям
Великой Отечественной войны

Наконец-то томительное ожидание закончилось. Ночью 23 мая 1942 года в автомобильную роту подвоза, в которой служил Иван, прибыл вестовой из штаба автотранспортного батальона с долгожданными приказами. В них чётко и ясно говорилось: советское командование предпринимает попытку прорыва линии окружения войск Юго-Западного фронта ударом извне частью сил 38-й армии.

Их роте приказано немедленно подготовить уцелевшую технику к ходу, неисправную уничтожить на месте или привести в полную негодность. Была поставлена задача вывести исправные машины из окружения через точки прорыва. В душе каждого бойца-водителя зажёгся потухший огонёк надежды на то, что весь этот кошмар наконец-то закончится. В автороте от сорока трёх машин осталось всего лишь десять исправных грузовиков ГАЗ-АА, называемых полуторками за их грузоподъёмность в полторы тонны полезного груза. Рота понесла тяжёлые потери: в её составе не осталось ни одного тягача, они, как и все остальные машины, были уничтожены немецкой авиацией.

* * *

В стороне предполагаемого прорыва громыхала канонада орудий, но кто по кому бил, было непонятно. Командир автороты нервничал, поглядывал в сторону предполагаемого прорыва и торопил всех отборным матом, как будто напрочь забыв про уставы и правила общения военнослужащих в РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии — примечание автора).

— Шевелитесь, мать вашу, или что, ласки от немца ждёте?! Вон как ласкает, сукин сын, слышите?! Горючку с неисправных машин слить в баки «живым», что не влезет — в канистры и в кузов! Про масло и керосин не забудьте! Стахеев?

— Я! — ответил Сашка, призванный в армию весной этого года и оказавшийся на удивление неплохим водителем.

— Ко мне! — подозвал его лейтенант и развернул перед ним на ящике карту. Как только вопрос с «горючкой» был решён, а неисправные машины приведены в полную негодность, все водители собрались возле Ивана, бывшего душой автороты. Он ещё с юности был влюблён в технику и с завязанными глазами мог разобрать и собрать двигатель любой машины: будь то трактор, ГАЗ или ЗИС. Вот именно поэтому все, даже командиры, уважительно звали его по имени и отчеству — Иван Васильевич.

В РККА он остался на сверхсрочную после того, как во время его службы, которая совпала с советско-финской войной, в родном селе ночью сгорел его отчий дом, а вместе с ним и вся семья: отец с матерью, молодая жена и двое ребятишек. Причина пожара осталась неизвестной. Поджог это был или просто несчастный случай — выяснить так и не удалось. Возвращаться было некуда и незачем. Ивану не раз предлагали повышение по службе, но он оставался рядовым бойцом-водителем, каждую свободную минуту, если таковая случалась в перерывах между боевыми заданиями, посвящавшим отладке и ремонту своей полуторки. Та же — в ответ — служила ему верой и правдой.

Теперь, ожидая приказ к выдвижению, все собрались вокруг Ивана, и он, угадывая мысли бойцов, достал кисет с махоркой и кусок газеты. Табака тогда ни у кого уже не было, только он сохранил свой неприкосновенный запас. Ради такого случая, как сейчас, им можно было и пожертвовать.

— Ну что, братцы, не так-то всё и плохо! Выведем своих лошадок?! — с улыбкой спросил он, глядя на собравшихся вокруг него водителей, щедро отсыпая каждому щепотки табака на протягиваемые кусочки газеты.

— Теперь-то точно выведем! Слышишь, как там громыхает?! — говорили бойцы, закуривая самокрутки и поглядывая

в сторону, откуда доносилась канонада орудий. Взгляд Ивана внезапно упал на Сашку. Тот сидел на подножке своей полуторки и отстранённо смотрел в землю.

— Хорошо бы было, — сказал Иван повеселевшим бойцам-водителям и, взяв с собой кисет, подошёл к Сашке. Тот поднял голову, по щекам молодого парня текли слёзы. В его глазах был не просто страх, а отчаяние! Иван в первый раз видел этого парня в таком состоянии. Тот всегда возвращался со всех заданий на своей полуторке целым и невредимым и никогда раньше не показывал своего испуга.

— Ты чего это, Саня? В первый раз, что ли? Держи, покури и всё пройдёт, — он протянул ему свою зажжённую самокрутку. Но тот даже не взглянул на неё. Пряча лицо от испытывающего взгляда Ивана, он протянул треугольник письма, которое получил от жены ещё в первых числах мая перед началом Харьковской наступательной операции.

* * *

Для лучшего понимания эпизода, о котором идёт речь в рассказе, необходимо вкратце обрисовать ситуацию, сложившуюся на момент описываемых событий. 12 мая 1942 года части Южного и Юго-Западного фронтов перешли в наступление на Харьковском направлении. В первые дни нашим войскам сопутствовал успех. В районе Барвенковского плацдарма оборона противника была прорвана, и наши части углубились на территорию противника до 30—60 километров. Однако 17 мая 1-я танковая армия вермахта армейской группы Клейста, оперативно среагировав на сложившуюся ситуацию, нанесла с фланга мощный удар в тыл наступающим частям Красной Армии. Уже в первый день своего наступления немцам удалось прорвать оборону 9-й армии Южного фронта и отрезать советским войскам пути отхода на восток. Необходимых подкреплений и сил для отражения такого удара немецких войск у нас не было. Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский предложил отвести войска с Барвенковского выступа, однако Сталин разрешения на отступление не дал. Член Ставки Верховного Главнокомандования полковник

Никита Сергеевич Хрущёв, пытаясь прикрыть вину своего бездарного командования и спасая себя, намеренно выдавал Ставке неверные данные о положении наших частей и силах противника. К 19 мая ситуация резко обострилась, и обстановка на юго-западном направлении стала катастрофической. В соответствии с немецким планом «Фридрихус-1», 6-я армия генерала Паулюса из района Балаклеи и армейская группа генерала Клейста из района Славянска и Краматорска начали наступать в направлении Изюма. Ударные группировки противника быстро вышли в тыл другим, ещё не окружённым советским частям. Только тогда Ставкой был отдан приказ о прекращении наступления на Харьков, но было уже поздно! С севера прорвались танковые соединения 6-й армии Паулюса и устремились на юг. К исходу 22 мая окружение частей РККА, участвовавших в Харьковской наступательной операции, было завершено. В результате основная часть войск ударной группировки Красной Армии на линии наступления оказалась полностью заблокирована и окружена. Начались отчаянные попытки вырваться из «котла».

* * *

Иван развернул письмо, переданное Стахеевым, и прочёл:

— «Любимый Сашенька, знаю, как тебе нелегко, хочу, чтобы ты знал: я всегда с тобой! Я всем подругам говорю: водитель — самая опасная работа на войне. Милый, у нас будет ребёночек, теперь ты просто обязан вернуться живым! Не хочу растить ребёнка без отца, будь прокляты эти фашисты и Гитлер! Не знаю, есть ли у вас газеты, поэтому высылаю тебе вырезку из «Правды». Выполни этот приказ ради нас и вернись живым, умоляю тебя!»

В письмо был вложен небольшой кусочек газеты, где было напечатано: «Приказ Верховного Главнокомандующего № 130 от 1 мая 1942 года. Приказываю всей Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев». Прочитав это, Иван отдал письмо Сашке и вполсилы двинул того в ухо.

Отлетев с подножки машины в пыль, тот встал, отряхнулся и спросил:

— Ты чего это, Иван Васильевич?!

— Чего, чего?! Да того! Думаешь, один такой?! У Степанова жена померла, а дома три рта без мамки и без куска хлеба остались, и что?! Молчит, стиснул зубы и ездит! Ты же, Сашка, никогда не дрейфил, а тут-то чего?! — разозлился на него Иван.

— Да не боюсь я! Меня ещё вечером загрузили ящиками со снарядами и патронами, а сейчас приказали доставить их на батарею сорокапяток и на позиции 4-го батальона. Они будут наш отход прикрывать, а я дороги совсем не знаю! Не доеду я до них! — ответил он, и Иван, несмотря на вспыхнувшую злость, понимал — парень был прав.

— Ну-ка, малой, давай за мной! — позвал Иван Сашку, и они направились к лейтенанту. Тот удивлённо взглянул на них и, потянувшись рукой к кобуре, зарычал на молодого:

— Ты ещё здесь, Стахеев?! Под трибунал захотел?! Сейчас же солнце взойдёт! Как ты, мать твою, доедешь?! Да я тебя сейчас сам прямо здесь расстреляю!

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант? — спросил офицера Иван Васильевич.

— Разрешаю! Тебе-то чего надо, Иван Васильевич, своих дел не хватает?!

— Разрешите мне выполнить задание Стахеева на его машине. Он ни разу не ездил в 4-й батальон, а я ту дорогу знаю как свои пять пальцев, помню все повороты, ямы и выбоины.

Лейтенант на минуту задумался, посмотрел на Сашку, затем на Ивана.

— Хорошо, но знай — эти снаряды и патроны нужны там сейчас как воздух! Так что хоть на спине, хоть в зубах тащи ящики, но они должны быть там, и как можно скорее, — сказал он и уже спокойным голосом добавил: — Солнце вот-вот взойдёт, постарайся уцелеть, Иван Васильевич. Нагонишь нас в точке сбора, думаю, что успеешь, часов пять у тебя ещё есть.

— Знаю, всё будет нормально, старшой, ещё увидимся, — ответил Иван и вместе с Сашкой зашагал в сторону машин.

Дойдя до своей полуторки, он показал Стахееву, где лежали инструменты, заводная рукоятка. Затем, словно прощаясь со своей машиной, он погладил её руль и сказал Сашке:

— Береги мою Галю. Если с ней что случится, я тебя, малой, и на том свете сыщу! Так что смотри у меня!

— Не волнуйся, Иван Васильевич. Сберегу я твою Галю, всё будет нормально, — ответил Сашка. Он, как и все в автороте, знал: Иван называл свою машину именем погибшей жены и никого к ней не подпускал.

— Ну давай, до встречи, береги себя, — попрощался Иван, прикидывая, с какой скоростью поедет.

* * *

До позиций 4-го батальона и батареи сорокапяток, что располагались к западу от них, было всего лишь восемь километров. Но «всего лишь» было бы, если бы в небе не хозяйничала немецкая авиация. Она превратила все дороги в сплошные полосы препятствий с ямами и воронками, но не это волновало Ивана. Он уже не раз ездил в этом направлении и знал, где и как можно было объехать разбитые участки. Его беспокоило другое — всходило солнце! Теперь его одинокий грузовик будет лёгкой мишенью для немецких самолётов, выдавая себя на грунтовой дороге шлейфом пыли из-под колёс. Выехав, он мысленно материл Сашку за то, что тот сразу не обратился к нему за советом, теперь из-за глупости Стахеева драгоценное время было упущено. Будь у Ивана в запасе тридцать — сорок минут, он уже возвращался бы назад на пустой машине.

Когда он проехал добрую половину пути, в подтверждение его мыслей в небе раздался гул самолётов, идущих на низкой высоте. Двигаясь по дороге в сторону запада и маневрируя между воронками, Иван их не видел, те шли с востока и, очевидно, уже возвращались с задания. Прислушиваясь сквозь шум мотора своей машины к гулу их двигателей, он пытался уловить в нём малейшее изменение. Только так, не видя перед собой в небе противника, можно было предугадать его атаку. Этот опыт уже не раз спасал водителю жизнь, не подвёл он его и сейчас. Как только ровный шум в воздухе сме-

нился на нарастающий вой, Иван понял: грузовик заметили, вот-вот будет атака. Судя по звуку, это были немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87». Их пилоты для психологического эффекта во время атаки наземных целей всегда включали сирену, и её вой вселял страх и ужас в людей, которым эти самолёты несли смерть.

Рассчитав время, Иван крепко сжал руль и, прошептав машине: «Выручай, милая!» — нажал на педаль тормоза. Полуторка, словно услышав его, остановилась, и от резкого торможения её сразу же накрыло облаком пыли. Иван не ошибся в расчётах! В небе над ним раздались очереди авиационных пулемётов, и предназначавшиеся для него пули подняли на дороге перед ним фонтанчики пыли — немец промахнулся. И на этот раз смерть прошла мимо! Повторного захода и новой атаки не было. Очевидно, немцы уже истратили весь боекомплект во время своего вылета, и пара немецких штурмовиков Ю-87 ушла прежним курсом на запад.

Несмотря на то, что это был уже далеко не первый налёт, Ивану понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Не каждому и не всегда удавался этот манёвр на дороге, который только что спас водителю полуторки жизнь. Только что он дважды поцеловал свою смерть! Во-первых, немец промахнулся, но если бы у него был полный боекомплект, то он запросто смог бы повторить атаку. Во-вторых, ходовая часть полуторки была рессорной. У этой конструкции был один серьёзный недостаток: при резком торможении амортизационные блоки принимали на себя многократные нагрузки. Рессорные листы могли сдвинуться относительно продольной оси, и любая встряска кузова со снарядами могла закончиться плачевно. Проще говоря, от такого торможения боеприпасы в кузове машины могли детонировать, и их подрыв разнёс бы машину на куски почище любой авиабомбы. Однако риск был оправдан, так как любое попадание очереди из авиационного пулемёта в кузов с боеприпасами привело бы точно к такому же результату.

Придя в себя и отдышавшись, Иван вышел из кабины и осмотрел машину. Видимых повреждений не было. Несмотря на то, что от резкого торможения ящики в кузове

сместились, груз был цел и невредим. До конечной точки его пути осталось около трёх километров. Иван посмотрел и в направлении позиций 4-го батальона прислушался. Несмотря на то, что солнце уже взошло, в той стороне стояла тишина. Скорее всего, попытка прорыва из окружения стала для немцев неожиданным сюрпризом, и теперь всё их внимание было приковано к участкам, где наши войска пытались пробить бреши в «кольце». Это было только на руку водителю. Сев за руль и пытаясь нагнать упущенное время, он нажал на педаль газа: тишина, он знал, на фронте всегда обманчива.

* * *

Оставшиеся три километра Иван преодолел быстро и без происшествий. На позициях батареи 45-миллиметровых орудий и 4-го батальона его помнили и встретили с теплом и уважением. Эти люди, которым предстояло прикрывать прорыв из окружения, понимали, что шансов уцелеть у них практически нет, и иллюзий никто не испытывал. На тот момент от полного состава батальона осталось не более ста человек, но, несмотря на это, все держались мужественно. Они были готовы выполнить данный им приказ, сделать это ради жизни других, абсолютно незнакомых людей. Помогая разгружать машину, Иван видел и слышал, как комиссар батальона говорил своим бойцам:

— Мы погибли бы раньше, товарищи, если не погибали бы наши отцы, деды и прадеды, дававшие отпор врагу! Так давайте же и мы сегодня, ради их памяти, ради жизни родных и близких, не посрамим себя трусостью и покажем фашистам наши зубы!

Комиссар 4-го батальона всегда мог найти нужные слова.

Когда разгрузка была закончена и кузов опустел, комиссар подошёл к Ивану:

— Спасибо, что снаряды привёз. Вот-вот немец нагрянет, а пушкари совсем пустые!

— Повезло, мог и не доехать, по дороге с воздуха обстреляли. А где Павел Семёнович, комбат-то ваш? — спросил Иван.

Комбат 4-го батальона тоже увлекался техникой, и во время коротких встреч они беседовали о машинах и другой технике.

— Нет больше Павла Семёновича. Убило вчера миной, когда вечернюю атаку отбивали. Дорога, по которой ты ехал, ещё цела?

— Не везде, много ям и воронок, но проехать можно.

— Возьми с собой раненых, из них трое тяжёлых, — комиссар посмотрел в сторону противника. — Эти вот-вот начнут. Что-то сегодня слишком долго они медлят с атакой. Видно, основательно готовятся, сволочи! Когда тут всё начнётся, нам будет не до них, да и новые появятся, а так эти, может, и уцелеют. Приказывать не буду, знаю — на дороге с ними в кузове не сманеврируешь. Возьмёшь?

— Возьму, комиссар. Ради того, что ты только что сказал, возьму! Грузитесь быстрее, а то и в самом деле немец появится, — Иван отлично понимал: только что он подписал себе смертный приговор. Имея в кузове людей, тем более раненых, он уже не сможет маневрировать на дороге так, как если бы ехал порожняком. Не сможет потому, что в кузове будут живые люди! Но слова комиссара, услышанные им до этого и обращённые к бойцам батальона, глубоко запали ему в душу.

Как только раненых погрузили в машину, Иван ещё раз посмотрел в сторону на удивление тихого в эти утренние часы запада. «Успею!» — решил он, когда люди, обречённые на смерть и подвиг, помогали завести ручкой двигатель. Как только полуторка зарычала родным голосом, вся неуверенность исчезла. Водитель снова оказался в родной стихии, но помнил, что в кузове девять раненых, из которых трое в тяжёлом состоянии. Справа от него сидела заплаканная девушка-санитарка. Комиссар силой запихал её к нему в кабину машины. Надавив на газ и вглядываясь в небо, Иван подумал: «Молодец комиссар, хотя бы этих людей и девчонку спас!» Объезжая воронки на дороге, он спросил девушку:

— Как зовут тебя, красавица?

— Галя.

Он усмехнулся:

— Надо же, прямо как мою машину, не эту, а мою, родную.

Почему он назвал свою машину Галей, Иван объяснять не стал. Ему было не до этого. Выруливая между воронками, он щурился от слепившего его солнца, всматривался в небо и прислушивался, ожидая уловить звук немецких самолётов. Когда позади них, на оставленных ими позициях, загрохотали отголоски ближнего боя, Галя вытерла слёзы и прошептала:

— Теперь я не смогу жить спокойно! Я должна была быть там!

— Дурочка, умереть всегда успеешь! Эти люди только что подарили тебе и раненым жизнь, береги её, иначе ради чего всё это?! — ответил он, а машину внезапно накрыли тени от появившихся немецких истребителей. «Проклятое солнце!» — успел подумать Иван. Из-за слепившего солнца он их не увидел, а ревущий на разных оборотах двигатель заглушил звук их моторов. На этот раз немецкие асы не промахнулись...

* * *

Иван Васильевич погиб, так и не узнав, что из их автороты из окружения удалось выйти живым только Стахееву Александру, тому самому молодому парнишке, вместо которого он сел за баранку полуторки. Колонну грузовиков, вырывавшихся из «котла», немцы уничтожили с воздуха. Сашка пересёк линию фронта уже пешком. После проверки и жестоких допросов он был снова отправлен на фронт, но перед этим написал жене, что если родится мальчик, то имя их ребёнка будет Иван.

Погибшему водителю не дано было узнать, что в те майские дни около ста бойцов 4-го батальона и батарея сорокапяток, которым он привёз боеприпасы, почти сутки сдерживали противника и не давали ему выйти в тыл к нашим войскам. Выполнив приказ, батальон в составе всего лишь шестидесяти человек вырвался из «котла». А одно-единственное орудие и отделение бойцов ещё несколько часов не давали немцам переправиться по деревянному мосту.

...Семья Стахеевых после войны перебралась из Сибири на Украину, поближе к тем местам, которые были так памятны Сашке. Когда Иван, его сын, вырос, он, как и геройски погибший сослуживец отца, стал водителем. И всякий раз, когда случалось ему проезжать по дорогам Харьковской области Украинской Советской Социалистической Республики, он ловил себя на мысли о том, что где-то здесь погиб мужественный человек, в память о котором он и был назван. Вот только, где конкретно это произошло, неизвестно никому. И нет на этой огромной земле, политой кровью красноармейцев, определённого места, где можно поставить строгий обелиск с пятиконечной звездой, куда можно прийти, поклониться и тихо сказать: «Спасибо, тёзка, за жизнь, за мир, который ты приближал... и который ты не увидел!»

* * *

Несмотря на все усилия наших войск, вырваться из этого окружения удалось не более чем 40 тысячам бойцов. Советские потери Южного и Юго-Западного фронтов приблизительно были около 270 тысяч человек личного состава, из них более 200 тысяч безвозвратных. Точное число потерь выяснить так и не удалось. Большинство погибших до сих пор числятся пропавшими без вести. Земля в местах тех боёв так и остаётся наполненной останками ещё не захороненных бойцов, как советских, так и представителей «исключительной» нации. Трагедия окружения наших войск под Харьковом закончилась лишь в феврале 1943 года, когда командующий 6-й армией фельдмаршал Паулюс подписал под Сталинградом капитуляцию немецких частей. А до этого, после Харьковской катастрофы, нашим войскам ещё предстояло, неся тяжёлые потери, отступать до самой Волги.

Ксения Шубина

г. Санкт-Петербург

ТАКОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

1

Сегодня 15 декабря, и я лечу в родной Златоуст. Потому что наступивший день — особенный. День рождения Бабушки. Ей исполняется 90 лет.

От Пулкова до Челябинска всего два часа лёту, потом ещё столько же на такси — и я у её порога. А пока я сижу в кресле самолёта, смотрю в иллюминатор и меня окутывают облака воспоминаний.

...Когда была маленькой, бабушка с дедушкой часто приходили к нам домой и нянчились со мной.

Всё лето мы с сестрой проводили на даче, играли, нежились на солнышке, ели ягоды с куста. Вечерами пили смородиновый чай, который бабушка как-то по-волшебному вкусно заваривала и наливала всем в белые чашки с голубыми цветочками. А её коврижка всегда была самой вкусной. Бабушка пекла её в тяжёлой металлической форме, разделённой на дольки, а сверху посыпала натёртой конфетой. Это было потрясающе!

Зимой наши ноги, руки и головы, да что там, нас самих целиком, согревали вещи, связанные бабушкой.

Весной на балконе были настоящие джунгли из помидорной рассады. Моя бабуля каждый день утром выносила горшочки из комнаты на балкон, где хрупкие растеньица принимали солнечные ванны. Там же солнечные ванны принимали и мы с сестрой, пока делали уроки после школы, за большим столом-книжкой. Между делом смеялись, ссорились, тут же мирились и снова смеялись.

На кухне у бабушки горячая стена: там прячется отопление. Мы любили сесть зимой, придя с улицы, прислониться к этой стене спиной и греться. Тепло, хорошо! Сидишь себе, ешь картофельную котлету с колбасой — и счастлив.

Бабушка никогда не ругала нас, хотя чего мы только не делали, каких проказ не устраивали. Она всегда как-то спокойно и доброжелательно плыла по жизни, её улыбки хватало на всех. Она была Нюсей для нашего деда и бабулей для нас. Она никогда не учила нас, как жить, а её коронное пожелание, которое уже много лет не перестаёт трогать меня простой и глубокой мудростью, заключается в следующем: «Пусть у тебя всё будет так, как ты хочешь».

И это, учитывая нашу почти шестидесятилетнюю разницу в возрасте, всегда удивляет меня. И радует.

Кто-то сказал, что бабушки и дедушки для внуков всегда были старыми, потому что нам сложно представить, что когда-то они были молодыми и даже детьми. Бабушка с дедушкой были для меня чем-то постоянным, незыблемым и нерушимым, настоящим островом добра и любви, где всегда царит сердечное тепло.

Я лечу на юбилей бабули и вспоминаю, вспоминаю своё детство: как бабушка учила меня вязать, как у неё на халате всегда были прицеплены булавки, как она делала «орешки» с варёной сгущёнкой.

Но ведь и у бабушки с дедушкой тоже были детство и юность, только совсем не похожие на мои. Они повзрослели в один день — 22 июня 1941 года.

2

«Все на улицу! Все на улицу!» — буквально влетев в типографию, кричал во всё горло парнишка из печатного цеха. Девчонки из наборного цеха выскочили на городскую площадь и увидели, что там собралось много народа. А из репродуктора красивый голос Левитана сообщал о том, что война закончилась! Мы победили! Все кричали «Ура!», обнимались, плакали и понимали, верили, что теперь будут счастливы!

Нюся Перина улыбалась, глаза наполнялись слезами. Это были слёзы счастья: наконец-то завершилась эта страшная война. Но это были и слёзы горя: только три дня назад они получили похоронку: «13 апреля 1945 года смертью храбрых погиб Фёдор Андреевич Перин» — её папа.

...Июньским днём сорок первого года вместе с мамой поехала Нюся за кислицей на Таганай. Горы вокруг Златоуста красивы, величественны и таинственны. Тёплая тихая ночь. Звёзды над головой. А на высоком хребте Таганая они кажутся особенно яркими и загадочными. Задушевные песни и тихие беседы у костра, вкусный ароматный чай из горных трав и счастливые люди. А вернувшись утром в город, нагруженные мешками с вкусной кислицей и готовые сразу же начать стряпать из неё пирожки, узнали страшную весть — началась война. Именно в этот день и закончилось детство Нюси Периной и многих её сверстников.

Прибежав домой, они увидели на столе записку от отца: «Я в военкомате». Но в тот день её папу, Фёдора Андреевича Перина, вернули домой: дали бронь, так как он работал на строительстве военного машиностроительного завода. Пока его знания и руки нужны были здесь, в тылу. Но Фёдор Андреевич рвался на фронт и вскоре добился своего, ушёл на войну добровольцем. Целые сутки Анюта с мамой ждали поезда на вокзале, чтобы помахать ему рукой на прощанье. Эшелон промчался быстро, только и успели они увидеть его посуровевшее лицо.

На глаза навернулись слёзы: «Папка, как же так! Ведь до Победы и оставалось всего несколько дней... Вот и мама уже третий день не приходит из госпиталя: прячется от боли за работой».

Мама, Ирина Яковлевна, работала в госпитале, который размещался в школе № 3 Златоуста. В классах, наскоро приспособленных под палаты для тяжелораненых, спасали жизни солдатам, эшелонами днём и ночью прибывающим в город. Туда бегала Анюта с подругами, чтобы помочь красноармейцам написать письма родным или выступить с концертной программой, чтобы порадовать бойцов песнями, стихами, танцами, отвлечь их от сильных болей и мыслей о судьбе родных и близких.

В сорок втором году Аня решила — надо идти работать. Когда Нюся Перина впервые переступила порог городской типографии, ей было всего четырнадцать лет. Директор типографии дал ей листок бумаги: «Пиши заявление», — а про-

читав его, сказал: «Молодец! Написала без ошибок. Значит — берём в наборный цех!» Так началась трудовая биография Нюси — Анны Фёдоровны Периной (Чирковой).

Когда в сорок третьем верстальщика Осинцева призвали в армию, её поставили на вёрстку газеты и назвали мудрёно «метранпажем». В то время газету набирали вручную. А станок для оттисков был просто допотопнейший. Верстали газету на талере — это такой металлический стол. С талера спускали будущую газету на гранку (похожую на большой противень для духовки) и несли на станок. Тяжело было! С гранки тихонько сдвигали набор на станок, накатывали валиком типографскую краску, и... начиналось «самое интересное». Один подросток давил на большую ручку, а другой, чаще всего это был Володя Лобанов, садился верхом на станок и ногами упирался в стенку. Так и делали оттиск для того, чтобы корректор газету вычитал. Почему Володя? Да просто он весил чуть больше, чем худенькие девочки.

Когда уже даже вес Володи не помогал (сил-то у четырнадцатилетних мало было), собирались все, кто был в это время в типографии, и дружно давили. Потом обратно на талер несли для правки, снова на станок для оттиска. И так несколько раз. Вот поэтому у многих потом и проблемы со здоровьем были: надсадились. Несколько раз были случаи, когда почти готовую газету при переносе гранки на станок роняли и рассыпали. Тут уж все вставали к реалам. Сначала быстро всё собирали с пола, шрифт раскладывали по ячейкам и вновь делали набор, но выпуск газеты ни разу не сорвали.

Начинали газету верстать в девять вечера, а заканчивали утром. Старались всё по графику сделать. В редакции всю ночь дежурила Анна Толстова: принимала сводки Совинформбюро. Их-то и ждали, чтобы поставить в свежий номер досылом, как самую необходимую читателю информацию.

Уставали, но домой не уходили. Под талером на ватной фуфайке немного вздремнут — и снова бодрые, готовые приступить к работе.

Они не жаловались ни на тяжёлый труд, ни на голод, ни на холод. Понимали, что на фронте солдатам ещё труднее

и, работая не жалея себя, они здесь, в глубоком тылу, приближают Победу.

А типография для Нюси Периной так и осталась на всю жизнь единственным местом работы, и верстала она всегда одну газету, только названия у неё были разные: «Пролетарская мысль», «Большевистское слово», «Златоустовский рабочий».

Она умела и любила работать. Когда однажды встал вопрос, кого посылать на конкурс ответственных секретарей и метранпажей, выбор пал именно на неё. Вместе с Брониславом Самойловым — он тогда был ответственным секретарём в газете «Златоустовский рабочий» — полетели они на самолёте на конкурс в Магнитогорск и заняли призовое место.

В доме у бабушки хранятся около сотни грамот разного уровня: от дирекции типографии до Правительства РСФСР, — а в шкатулочке, вместе с боевыми наградами мужа — фронтовика Александра Тимофеевича Чиркова, — её медали за труд. Есть чем гордиться!

Но самая большая гордость Анны Фёдоровны — дети. Старшая дочь Валентина — доктор наук, профессор Сибирского федерального университета. Сын Олег — врач. Дочь Галина — журналист.

Вот такая она, моя бабушка, лишённая детства войной и отдавшая всю себя безупречному труду и семье.

3

Я знала, что дедушка был на войне, знала, что дошёл даже до Берлина, но я боялась спросить у него, откуда этот полукруглый шрам на спине, потому что чувствовала, что ему будет больно вспоминать и говорить об этом. И я спросила маму. Она рассказала, что дедушку ранило на войне в ногу и в шею, а потом он, раненый, долго лежал в окопе на стылой земле. После этого у дедушки началось сильное воспаление лёгких. Его отвезли в госпиталь Ленинградской военной медицинской академии, где он провёл больше года, там ему и сделали ту операцию, от которой остался шрам.

До сих пор в нашем старом семейном альбоме, в доме, который, несмотря на то, что дедушка умер уже много лет назад,

так и остался домом бабушки и дедушки, хранятся фотографии пожилого профессора и его молодой помощницы, которые сделали операцию. Благодаря этому мой дедушка выжил.

Мой дедушка, Александр Тимофеевич Чирков, часто рассказывал нам, пяти маленьким внучкам, о своей жизни в деревне Рудовка Тамбовской области, о том времени, когда он был ещё совсем мальчишкой. Много вспоминал он и о тех годах, когда приехал в Златоуст уже после войны, как стал металлургом, как познакомились они с бабушкой, как поженились, и дальше — всю-всю жизнь. Но всё это были рассказы о мирной жизни. О войне он не говорил практически никогда.

Он рвался на фронт с первого дня, но его не брали — из-за молодого возраста. Да и о семье нужно было заботиться — отец ушёл на фронт, в сорок втором пропал без вести, а дома были мама и братья. Юноша остался за старшего. Работать приходилось с утра до ночи. Он пахал землю, косил траву, рубил дрова — делал всё за взрослого мужчину. «Не Санёк, так нам бы и не выжить в войну», — так говорила его мама.

А в 1944 году семнадцатилетний Саша Чирков добровольцем ушёл на фронт.

Через год после войны в Рудовку из госпиталей всё ещё возвращались бойцы. И вся деревня выходила их встречать. Стояли уже вернувшиеся мужчины и их счастливые жёны. Стояли жёны тех, кто ещё не вернулся, и тех, кто так и не вернулся. Стояли повзрослевшие дети и постаревшие матери... Стояли и с надеждой всматривались в дорожную пыль, пытаясь разглядеть издалека, кто там идёт. А потом были слёзы радости и разговоры, поцелуи, объятия. А чуть стеснявшиеся малыши смотрели во все глаза на своих отцов, от которых они отвыкли за эти страшные годы голода, холода, смерти.

В один из таких дней вместе со всеми стояла на дороге моя прабабушка Евдокия Борисовна Чиркова и ждала, мечтая повстречать пропавшего без вести мужа или сына Саньку. Увидев, как тяжело идёт по дороге перекошенный старик, она изо всех сил напрягала зрение и не могла понять — кто это. «Чей же это старик?» — думала она, пока тот медленно приближался к деревне. И вдруг она узнала: «Это ж мой Санька!»

Тем «старичком», который шёл по пыльной дороге в деревню, был её двадцатилетний сын! Вот так покалечила его война.

Однако, на радость матери и самому себе, дедушка довольно быстро восстановился: молодой организм, желание жить, работать, любить победило болезнь, но тот шрам и горькие воспоминания остались на всю жизнь.

Дедушка переехал в Златоуст, поступил работать на металлургический завод, учился в техникуме. Перевёз двух братьев и маму на Урал. Он так и остался за старшего в семье и был надёжной опорой для родных.

А для меня дед был мудрым, справедливым и очень-очень добрым дедулей, человеком, который абсолютно всё мог сделать своими руками, от мебели, которая до сих пор стоит дома, до перламутровой пряжки на выпускном платье моей мамы. Дедушка был символом надёжности, стабильности, чести.

Он был волшебником. В дальней комнате, в дальней стене, была сделана дверь в кладовку. А там были ящички, в которых лежали орудия его волшебства. Он приносил туда лавочку, включал свет и что-то там делал. Мы прибегали посмотреть, и дедушка показывал нам то, что лежало в этих ящиках. Это были не просто гвозди, молотки, стамески и рубанки, это было что-то священное, наполненное Смыслом.

Мы часто играли в этой кладовке и ни разу не лазили без спроса в эти ящички, боялись выпустить волшебство, обмануть дедушкино доверие, хотя он нам об этом ничего не говорил. Когда дедушки не стало, кладовка потеряла смысл. Она осталась на том же месте, остались те же ящики, остались в них, наверное, даже те же самые предметы, но ни разу больше я не видела в ней того света, который был там при дедушке. Я даже стала бояться этой кладовки, казалось, в ней можно заблудиться (хотя она совсем малюсенькая) и что там теперь есть что-то абсолютно неприкосновенное.

Как жаль, что я была слишком мала, чтобы понять, что дедушка был живой историей. С ним нужно было говорить, говорить, говорить. Как раз о том, как это было. А мы с увлечением слушали его, когда он рассказывал про подожжённое колесо, пущенное с горы, чтобы напугать соседа, или про его

голубоглазую сестрёнку Настеньку, которая умерла в четыре года. Или как его младший брат Вася, которому по возрасту приходилось донашивать одежду за старшими, как-то, примерив новые сапоги брата, забрался на печку и под смех всей семьи так и завладел новыми сапогами... Хотя и эти рассказы тоже были нужными и важными...

Но война незримо присутствовала всегда, когда мы общались с ним. Тот самый шрам на спине... Он напоминал о войне постоянно, так же, как и медаль «За отвагу», которую дед получил в том бою.

***

Я лечу в самолёте на 90-летие бабушки. 90 — это ого какой юбилей! Она самая замечательная Бабушка на свете, она так много перенесла боли и страданий, но мне стоит поучиться у неё жизнелюбию, умению просто смотреть на сложности и принимать жизнь такой, какая она есть. Конечно, возраст даёт о себе знать. И это очень грустно, до слёз грустно. Но каждый раз, когда мы приезжаем, бабушка говорит: «Какая я счастливая! Какие у меня деточки и внучки!» А я смотрю на неё и понимаю, что именно она и наш дедушка — это основа всего. Именно бабушка заботилась о пяти внучках. И внучки вроде бы получились ничего. И у некоторых из нас уже есть свои дети, а у некоторых ещё только будут. И это всё будет продолжаться до бесконечности.

Семья — это так важно! Это самое важное, что вообще есть. И я так рада, что мне есть к кому прилетать на 90-летие в маленький, снежный, очень хороший город на Урале. Вот сейчас из аэропорта Челябинска такси домчит меня до проспекта Гагарина в родном городе, я позвоню в дверь, подарю цветы, её любимый торт «Птичье молоко» и скажу: «С днём рождения, родная! Крепкого здоровья тебе! Мы любим тебя! И мы будем стараться жить так же долго, как ты, и будем стремиться быть такими же добрыми, как ты. И я надеюсь, что у нас получится. Потому что вы с дедом дали нашим родителям — а значит, и нам — самый лучший старт в жизни: детство, прошедшее в любви».

Вместо послесловия

Дорогие друзья!

Вот Вы и прочитали последний рассказ сборника. Надеюсь, Вам было интересно познакомиться с нашими героями, которые – соль земли русской, её надежда и опора.

Это они издревле пахали и сеяли, собирали урожай, растили детей и защищали Родину. Кто-то дошёл до Победы, а кто-то не увидел рассвета в июне сорок первого или в мае сорок пятого. Кто-то разминулся с любовью в юности, а кто-то пронёс её через всю жизнь.

Разные судьбы, разные характеры у наших любимых стариков (которые, заметим в скобках, для авторов всегда молоды), но суть одна – они жили по совести, день за днём преподнося нам уроки чести и достоинства. Они, случалось, заблуждались, спорили до хрипоты, падали, но поднимались и шли дальше, к заветной цели.

Разве можно прервать эту коллективную повесть о дорогих нашему сердцу людях, разве можно поставить точку и навсегда попрощаться?

Сегодня, завершив работу над первым выпуском сборника из проекта «Дорогие мои старики», мы начинаем работу над следующей книгой, а это значит, что мы говорим читателям: «До новых встреч!»

Тем же из Вас, кто хочет поделиться воспоминаниями, зарисовками, рассказами и стихотворениями о людях, которые учили нас жить, верить и мечтать, мы говорим: «Добро пожаловать в семью авторов издательства «Серебро Слов»!

Надежда Казакова,
составитель сборника «Дорогие мои старики»

СОДЕРЖАНИЕ

К нашим читателям 3
Игорь Англер 4
Анастасия Ано 12
Татьяна Гуркова 17
Александр Дубровин 26
Михаил Забелин 30
Виктория Кайтукова 70
Ирина Китаина 79
Вера Кошелькова 84
Софья Кочегарова 86
Ирина Кравец 91
Иаков Липянский 92
Наталья Миронова-Чернова 96
Денис Минаев 99
Фаина Нестерова 102
Геннадий Перминов 110
Георгий Петров 114
Георгий Разумов 136
Ирина Салтанова 141
Евгения Серенко 166
Протоиерей Анатолий Симора 175
Андрей Штин 180
Ксения Шубина 191
Вместо послесловия 199

Дорогие мои старики

Сборник произведений

Редколлегия:
С.С. Антипов, И.Е. Витюк,
Д.В. Минаев, Н.В. Казакова

Составитель:
Н.В. Казакова

Дизайн обложки:
Е.В. Анисимова

Корректор:
А.Е. Русских

Компьютерная вёрстка:
А.А. Минаева

ООО Издательство «Серебро Слов»
Телефон: *8 (926) 433-33-99*
E-mail: *serebro.slov@gmail.com*
Сайт: *http://tvoyakniga.ru*
Интернет-магазин:
http://tvoyakniga.ru/content/magazin/magazin/

Подписано в печать 30.10.2018
Формат 60x90/16. Бум. офс. 80 г/м^2. Печать цифровая.
Объём 12,625 усл. п/л. Гарнитура BalticaC.

ISBN 978-5-907026-87-2



